

СРА
В-55

Антирелигиозные
РАССКАЗЫ

О Г И З

Государственное Антирелигиозное Издательство
1939

147521/в'

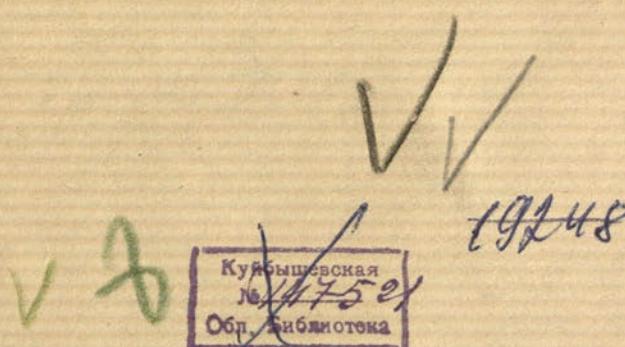
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА

СБ

А -

АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ РАССКАЗЫ

Составила
Е. Д. ВИШНЕВСКАЯ



огиз · ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИРЕЛИГИОЗНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1939

МОСКВА

Сборник содержит антирелигиозные рассказы советских писателей и предназначен главным образом для громких читок перед широкой аудиторией.

891.71-3

13-55

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Придавая огромное значение художественной литературе как одному из могучих средств в деле преодоления пережитков капитализма в сознании трудящихся масс, в том числе и религиозных пережитков, Государственное антирелигиозное издательство намечает в ближайшие два-три года выпустить серию антирелигиозных художественных сборников.

Данный сборник является первым из этой серии. В него включены антирелигиозные рассказы современных советских писателей.

Сборник предназначен для массового читателя.

A. M. ГОРЬКИЙ¹

* * *

.. Сидя в чайной, я услышал сердитый возглас:
— Всех прогнали, всех! Говорю тебе — Иван Кронштадтский едет к ним...

Кричал тощий старичок в темных очках на лиловом носу пьяницы, босый, в сером ветхом подряснике, — один из маленьких актеров, которые играют легкие и выгодные роли строгих судей мира сего.

Я подсел к нему и узнал, что проездом откуда-то Иоанн Кронштадтский остановится на несколько дней в Рыжове, — в монастыре верст за тридцать от Харькова.

Маленькие стенные часы с подковой, привешенные к одной из гирь, показывали около семи, было утро; к вечеру, не торопясь, я пришел в Рыжово.

У ворот монастыря толпились странники, обыватели... В тени стены и деревьев стояла богатая карета — люди осторожно обходили ее, как-будто боясь, что карету разорвет... В воздухе колебался осторожный гул, чувствовалось нервное напряжение. Бесшумно и быстро, как мыши, суетились серые фигуры странниц. Было жарко, душно, в красноватых лучах солнца играли пылинки, листья деревьев монастырского сада тоже покраснела, точно осенью.

Ворота монастыря заперты. В нише, на лавочке большой, чернобородый привратник, в окошечке калитки — точно в раме — вставлено мохнатое лицо монаха: дремотно закрыв глаза, он что-то напевал тихим тенорком.

¹ Печатаемый очерк А. М. Горького о встрече с известным черносотенцем и мракобесом Иоанном Кронштадтским взят из книги И. Груздева «Горький и его время»; очерк приведен там без заглавия.

— Куда ты, о столоп? — несколько испуганно воскликнул привратник, видя, что я сажусь рядом с ним...

— Ты дай ему пинка, брат Илья, — нехотя посоветовал монах из окошка, протяжно зевнул и — скрылся.

Я сказал привратнику, что мне совершенно необходимо побеседовать с отцом Иоанном.

— Все этого хотят — видишь? А пускать к нему — не велено...

— Но — если я хочу покаяться в большом грехе?

— Тогда — в полицию иди, дурачок, — сказал монах, с любопытством заглядывая в лицо мое. — Что — беглый солдат?

Я обещал рассказать первому ему все мои грехи и преступления, если он поможет мне увидеть И. Кронштадтского.

Он заволновался, привстал, тихо крикнул в окошко:

— Ермий?! Ушел...

И, задумчиво вытаращив на меня добрые глаза, он посоветовал:

— Ты — отойди, а я что-нибудь придумаю...

Монах ничего не придумал, но согласился пустить меня ночевать к садовнику монастыря.

Садовник оказался злым старичком; одноглазый, желтый, с черными зубами, он бормотал, захлебываясь раздраженно:

— Да, да — как же! Угодник божий приехал к нам, рясашелковая, сапоги со скрипом, апельсины ест, — сейчас ему в сад третий апельсин понесли. Да, да, — в саду сидит, пожелал уединения, как же — о, господи! Не велел никого пускать к себе, устал, дескать...

Он бормотал скрипучей скороговоркой и суетливо метался по сараю, загроможденному тачками, лопатами, горшками.

Очень трудно было уговорить его, чтоб он пустил меня в сад, наконец, он согласился: ему очень хотелось причинить гостю маленькую неприятность.

— Ступай, только ежели он заскандалит, — я ничего не знаю и никогда тебя не видал! Ты скажи, что через ограду перелез, — давеча один такой перелез.

Старик усмехнулся и добавил:

— Попало ему!

Он выпустил меня в сад, осторожно приотворив широкую дверь сараев, и — вот я иду по дорожке густого душистого сада, ярко светит луна, в глубине дорожки — небольшая полу круглая площадка, и там, на скамье, сидит темная фигура.

— Кто это опять?

Убедительно, как только мог, я сказал, что имею непобедимое желание беседовать с ним и для того перелез стену сада...

Он сидел, согнув спину, опираясь ладонями рук о скамью,

в коленях его, — в складках рясы, — лежала коробка фиников, и я видел на скамье косточки их, разложенные правильным кругом. У ног священника разбросаны корки апельсина, — в лучах луны они казались цветами.

— Ну, что же... о чём же...

Он смотрел на меня, не поднимая головы, но высоко подняв брови и заведя глаза ко лбу. На лице его лежала густая тень шляпы. Я скорее чувствовал, чем видел, что глаза его смотрят на меня неприязненно.

— Ну, говори...

Я спросил его о происхождении зла, — древний вопрос этот был для меня в то время нов и мучителен.

— Что-о? — удивленно протянул Иоанн, взмахнув головой так сильно, что шляпа съехала на затылок, открыв сухое, серое, очень знакомое лицо сельского попика. Мне показалось, что в остром взгляде его сердитых глаз дрожит испуг.

— Ты кто? Солдат?

— Не все ли вам равно?

Поправив шляпу, он вполголоса, строго, почти гневно и очень быстро заговорил:

— Кто тебя научил этому? Тебя подослали ко мне, — искушать меня? Ты — переодетый студент?

Он вдруг подскочил, коробка фиников упала на землю, откуда-то выкатился апельсин и побежал по площадке; толкая меня в грудь пальцем, священник как-то оглушительно зашептал:

— Встань на колени, молись! Кайся мне, где ты слышал это, от кого? А, еретик, тебе ли, собака, лаять слова, смысл коих неведом, недоступен таким, как ты! Молись...

Я рассердился. Меня влекло к нему не простое любопытство и не желание состязаться с ним в силе ума, — меня крутил по земле вихрь сомнений, от которых сердце мое разрывалось на куски и леденел мозг, я ходил среди людей полуслепой, не понимая смысла их жизни, их страданий, почти до безумия изумленный их глупостью и жестокостью, измятый своим бессилием, не находя нигде ответов на острые вопросы, а они резали душу мне.

Все это я сказал ему, а потом спросил:

— Какое право имеете вы относиться ко мне презрительно и грубо?

— Сядь, овца заблудшая, — тихо сказал он, сняв шляпу, пригладив волосы и шаркая о землю подошвами обуви. Сказанное мною, должно быть, несколько пошатнуло его в мою сторону. В глубине сада, там, откуда я пришел, двигалась черная фигура, — Иоанн долго смотрел туда из-под ладони, потом,

положив легкую руку свою на плечо мне, заговорил сердито:

— Вопросы эти решает церковь, и она решила их, — не твое дело касаться мудрых вопросов, не твои!.. Кто ты есть? Кто бы ты ни был, ты есть раб господа, но никак не совопросник ему. Раб!

Рука его дрожала на плече моем, и это было неприятно мне. Луна всходила все выше, светлей становилось в саду, — я видел, что волосы негустой бородки священника шевелятся на скулах и губы его тоже дрожат.

— Я знаю, — говорил он, — ты возмутитель жизни, ты ходишь возмущать людей, ты, ведь, семинарист, я вижу! Ты должен знать, что говорит церковь: «Раб ли призван был еси, да не перадиши, но аще не можеши свободен быти, больше поработи себе». И еще: «Раби послушайте господий своих по плоти со страхом и трепетом».

Он резко отодвинулся от меня.

... — Ты книги, что ли, читал, какие церковные книги читал ты? — спросил Иоанн, глядя на меня исподлобья.

Я называл несколько книг, — в их числе Юстина-философа¹.

— Вот, — грозя пальцем, торжественно сказал Иоанн Сергиев, — видишь? Юстин-то еретик был!

Когда я напомнил ему, что это другой Юстин, мученик, признанный святым, он сердито и ворчливо сказал:

— Врешь ты, путаешь что-то...

Но тотчас же добавил:

— Впрочем — церковь празднует память Юстина-мученика первого июня, — этот? Вот видишь, — значит, ты семинарист. Выгнанный? На каком языке читаешь?

Он, видимо, не знал, что Иустин, а также Ириней Лионский² переведены на русский язык, и это снова раздражило его. Коротко отвечая на его нервные вопросы, я ловил взгляд странных глаз, они бегали, мигали. Чем, какою силой этот человек ведет людей за собой?

— Макария — читал? Все это не нужно тебе. Зачем это? В монастырь метиши, на легкий хлеб, бездельничать?

...Странная, должно быть, картина была, если посмотреть со стороны: на полукружии, среди серебристо освещенных деревьев, судорожно трясясь тощий, небольшой попик в темной рясе, отливающей в изгибах золотом, а перед ним длинная фигура бродяги в солдатской шинели, с грязной котомкой за спиной, с широким «бривлем» в руке — хохлацкой шляпой из пшеничной соломы.

— Давно известно все это, от древних еретиков идет эта

¹ Юстин-философ — христианский церковный писатель II в.

² Ириней Лионский — один из «отцов церкви» конца II в.

болтовня — да-да-да! Я — знаю! — Он вскочил на ноги и высоким голосом, почти истерически, закричал:

— Кто послал тебя изливать яд этот в души людей? Дьявол, да-да-да!

Сзади меня тяжело затопали по земле четыре ноги — точно бык шел.

Иоанн Сергиев, кажется, хотел толкнуть меня или схватить за шиворот — он протянул ко мне трясущиеся руки, но, взглянув за плечо мое, болезненно вскричал:

— Кто это? Что надо? Ах, боже...

— Мы думали... — сказал кто-то густым басом.

— Ничего мне не надо, не надо...

Замахав руками, он опустился на скамью, но тотчас же снова вскочил, торопливо говоря:

— Погодите, — вот — человек этот... проводите его! За ворота проводите... да, да — он не здешний...

— Пожалуйте! — сочным басом сказал широкоплечий монах, становясь рядом со мною, и видя, что я не трогаюсь с места, повторил, легонько толкнув меня плечом:

— Пожалуйте?

Я пошел как во сне, внутренно оцепенев.

— Побеседовал? — спросил монах, упирая на о, а другой, идя за спиною моей, фыркнул и закашлялся.

...Подвели меня к воротам, привратник открыл их и весело спросил:

— Вытурили, все-таки?

Ночь я просидел с ним на лавочке, он дремал, прижаввшись в уголок ниши, сладостно чмокал губами, вздрагивал, просыпался и, широко открыв глаза, пугливо крестил грудь:

— О, господи... ох, ты, боже...

Негодуя, плевал на землю и жаловался:

— Задремлю, а меня пес лижет... большущий пес, и прямо в губы... К чему это?

Ночь была удивительно ясная, теплая, тихая, со станции Люботин доносились свистки паровозов и, смягченный расстоянием, грохот поездов.

...Когда я решил идти во храм — туда нельзя было пробраться, так много втиснулось народа в него. Я остался на паперти и видел, как после конца обедни из дверей храма излилась и закрутилась темным вихрем толпа возбужденных людей, стекая со ступеней паперти во двор и снова возвращаясь на ступени, вытягивая шеи. Сопровождаемый тремя монахами, стиснутый толпой, медленно двигался Иоанн Кронштадтский, — голова его была высоко вздернута, рот полуоткрыт и на потном лице дрожали, сверкая, полубезумные глаза, — именно дрожа-

ли, устремленные в одну точку... У него тряслась челюсть, дрожала борода, — лицо сурово ощетинилось.

— Скажи нам... Скажи!.. — гудели голоса.

Он хрюкло, отрывисто говорил:

— Молитесь... кайтесь...

Толпа бурно влеклась за ним, хватала его рясу, руки, необыкновенные лица, с раскрытыми ртами, заглядывали в его покрасневшее потное лицо, а он неуклонно смотрел через них и бросал краткие слова, — они утопали в шарканье ног по плитам церкви, в гуле просьб и жалоб.

— Вера — прибежище наше...

Я следил за его взглядом, и снова мне показалось, что глаза его налиты страхом, — это он жжет и плавит их. Шатаясь под толчками людей, человек этот взмахивал пред лицом своим правой рукою, как будто отталкивая от себя кого-то невидимого мне, согнал плечи и спину, словно подавленный непосильной тяжестью, готовый упасть, и дрожащими глазами все смотрел вперед, как бы видя пред собою чей-то строгий, ослепляющий взгляд.

И бормотал:

— Единое на потребу... О Марфе помните... Не пещитесь о многом.

— По-озвольте! — мощно гудел большой монах, добродушно улыбаясь и раздвигая людей плечом, локтем, коленом, освобождая путь.

Отца Иоанна сильно бросило вперед и снесло с паперти, — больше я не видал необыкновенного взгляда его испуганных глаз.

«КРУЖОК ВЗЫСКУЮЩИХ ГРАДА»¹

(Отрывок из книги «Жизнь Климова Самгина»)

...Самгин воспроизвел в памяти картину собрания кружка людей, «взыскующих града», — его пригласила на собрание этого кружка Лидия Баравка.

В помещение под вывеской «Магазин мод» входят, осторожно и молча, разнообразно одетые, но одинаково смиренные люди, снимают верхнюю одежду, складывая ее на прилавки, засовывая на пустые полки; затем они «гуськом» идя друг за другом, спускаются по четырем ступенькам в большую, узкую

и длинную комнату, с двумя окнами в ее задней стене, с голыми стенами, с печью и плитой в углу, у входа: очевидно — это была мастерская. В комнате — сумрачно, от стен исходит запах клейстера и сырости. На черных и желтых венских стульях неподвижно и безмолвно сидят люди, десятка три-четыре мужчин и женщин, лица их стерты сумраком. Некоторые согнулись, опираясь локтями о колена, а один так наклонился вперед, что непонятно было: почему он не падает? Кажется, что многие обезглавлены. Впереди, в простенке между окнами, за столом, покрытым зеленою kleenкой, — Лидия, тонкая, плоская, в белом платье, в сетке на курчавой голове и в синих очках. Перед нею — лампа под белым абажуром, две стеариновые свечи, толстая книга в желтом переплете; лицо Лидии — зеленоватое, на нем отражается цвет kleenки; в стеклах очков дрожат огни свеч; Лидия кажется выдуманной на страх людям. В ее фигуре есть нечто театральное, отталкивающее. Поглядывая в книгу, наклоняя и взбрасывая голову, она гнуя-сово, в нос читает:

— «Говорящего в духе — не осуждайте, потому что не плоть проповедует, а дух, дух же осуждать — смертный грех. Всякий грех простится, а этот — никогда».

Отделив от книги длинный листок, она приближает его к лампе и шевелит губами молча. В углу, недалеко от нее, сидит Марина, скрестив руки на груди, вскинув голову; яркое лицо ее очень выгодно подчеркнуто пепельно-серым фоном стены.

— Начни, сестра София, во имя отца и сына и святого духа, — говорит Лидия, свертывая бумагу трубкой.

Рядом с Мариной — Кормилицын, писатель по вопросам сектантства, человек с большой седоватой бородой на мягкому лице женщины, — лицо его всегда выражает уныние одинокой, несчастной вдовы; сходство с женщиной добавляется его выгнутой грудью.

Самгин нередко встречался с ним в Москве и даже, в свое время, завидовал ему, зная, что Кормилицын достиг той цели, которая соблазняла и его, Самгина; писатель тоже собрал обширную коллекцию нелегальных стихов, открыток, статей, запрещенных цензурой; он славился тем, что первый узнавал анекдоты из жизни министров, епископов, губернаторов, писателей и, вообще, упорно, как судебный следователь, подбирал все, что рисовало людей пошлыми, глупыми, жестокими, преступными. Слушая его анекдоты, Самгин, бывало, чувствовал, что человек этот гордится своими знаниями, как гордился бы ученый исследователь, но рассказывает всегда с тревогой, с явным желанием освободиться от нее, внушив ее слушателям. К столу Лидии подошла пожилая женщина в черном платье,

¹ В отрывке разоблачается сектантская проповедь любви.

с маленькой головой и остроносым лицом, взяла в руки желтую библию и неожиданно густым, сумрачным голосом возгласила:

— Пророка Исаи, глава двадцать четвертая!

Раскрыв тяжелую книгу, она воткнула в нее острый нож, зашелестели страницы, «взыскиющие града» пощевелились, раздался скрип стульев, шарканье ног, осторожный кашель,— женщина, взмахнув головою в черном платке, торжественно и мстительно прочитала:

— «Се Господь рассыплет вселенную и опустошит ее, откроет лицо ее и расточит живущие на ней».

У плиты, в углу, кто-то глухо зарычал.

— «Тлением истлеет земля и расхищением расхищена будет земля»,— с большей силой и все более мстительно читала женщина:

— «Восплачует земля»...

Шум около печки возрастал; Марина, наклонясь к Лидии, что-то сказала ей, тогда Лидия, постукивая ключом по столу, строго крикнула:

— Тише!

Сквозь ряды стульев шел человек и громко, настойчиво говорил:

— Так я ж ничего ни разумию! Сначала—рассыпле, после—лицо открое... И все это, простите! — известно; земля вже плаче от разрушения средств хозяйства...

Человек был небольшой, тоненький, в поддевке и ярко начищенных сапогах, над его низким лбом торчала щетка черных, коротко остриженных волос, на круглом бритом лице торпелись усы — слишком большие для его лица, говорил он звонко и капризно.

— И никак невозможно понять, кто допускает расхищение трудов и зачем царь отказывается править народом...

Неестественно согнувшись человек выпрямился, встал и, протянув длинную руку, схватил черненского за плечо,— тот гневно вскричал:

— Чего вы хватаетесь.

— Здесь собрались люди...

— Да — я вижу, что люди...

— Побеседовать не о том, о чем говоришь ты, брат...

— Как же не о том?

Кто-то засмеялся, люди сердито ворчали, Лидия встряхивала слабозвучный колокольчик; человек, который остановил черненского капризника, взглянул в угол, на Марину,— она сидела все так же неподвижно.

«Идол», подумал Самгин.

В переднем ряду встала женщина и веселым голосом крикнула:

— Это Лукин, писарь из полиции — притворяется, усы-то налеплены...

— Выведите его,— истерически взвизгнула Лидия.

Самгину показалось, что глаза Марины смеются. Он заметил, что многие мужчины и женщины смотрят на нее, не отрываясь, покорно, даже как будто с восхищением. Мужчин могла соблазнить ее величавая красота, а женщин чем привлекала она? Неужели она проповедует здесь? Самгин нетерпеливо ждал. Запах сырости становился теплее, гуще. Тот, кто вывел писаря, возвратился, пошел к столу и согнулся над ним, говоря что-то Лидии; она утвердительно кивала головой, и казалось, что от очков ее отскакивают синие огни...

— Хорошо, брат Захарий,— сказала она. Захарий разогнулся, был он высокий, узкоплечий, немного сутулый, лицо неподвижное, очень бледное — в густой, черной бороде.

— Брат Василий,— позвала Лидия.

Из сумрака выскоцил, побежал к столу лысый человек, с рыжеватой реденькой бородкой.— он тащил за руку женщину в клетчатой юбке, красной кофте, в пестром платке на плечах.

— Иди, иди, — не бойся! — говорил он, дергая руку женщины, хотя она шла так же быстро, как сам он.— Вот, братья, сестры, вот — новенькая! — бросал он направо и налево шипящие, горячие слова.— Мученица плоти, ох, какая! Вот — она расскажет страсти, до чего доводит нас плоть, игрушка диаволова...

Доведя женщину до стола, он погрозил ей пальцем:

— Ты — честно, Таисья, все говори, как было, не стыдись, здесь люди богу служить хотят, перед богом стыда нету!

Он отскочил в сторону, личико его тревожно и радостно дрожало, он размахивал руками, притопывал, точно собираясь плясать, полы его сюртука трепетали подобно крыльям гуся, и торопливо трещал сухой голосок:

— Тут, братья-сестры, обнаружится такое...

И не найдя определяющего слова, он крикнул:

— Ну, начинай, рассказывай, говори — Таисья...

Женщина стояла, опираясь одной рукой о стол, поглаживая другою подбородок, горло, дёргая коротенькую, толстую косу; лицо у нее — смуглое, пухленькое, девичье, глаза круглые, кошачьи; резко очерченные губы. Она повернулась спиной к Лидии и, закинув руки за спину, оперлась ими о край стола,— казалось, что она падает; груди и живот ее торчали выпукло,

вызывающе, и Самгин отметил, что в этой позе есть что-то неестественное, неудобное и нарочное.

— Отец мой лоцманом был на Волге! — крикнула она, резкий крик этот, должно быть, смущил ее,— она закрыла глаза и стала говорить быстро, невнятно.

— Ничего не слышно,— строго сказала остроносая сестра Софья, а суетливый брат Василий горестно вскричал:

— Эй, Таисья, портишь дело! Портишь!

Кормилицын встал и осторожно поставил стул впереди Таисьи,— она охватила обеими руками спинку стула и кивком головы перекинула косу за плечо.

— На двенадцатом году отдала меня мачеха в монастырь, рукоделию учиться и грамоте,— сказала она медленно и громко.— После той, пьяной жизни, хорошо показалось мне в монастыре-то, там я и жила пять лет.

Смуглое лицо ее стало неподвижно, шевелились только детски пухлые губы красивого рта. Говорила сердито, ломким голосом, с неожиданными выкриками. Пальцы ее судорожно скользили по дуге спинки стула, тело выпрямилось, точно он зросла.

— Жених был, неказистый, рыжеватый, наяниливыи такой... Пакостник! — вдруг вскрикнула она.

— Во-от, вот оно! — с явным восхищением и сладостно восхликал брат Василий.

Все другие сидели смирно, безмолвно,— Самгину казалось уже, что и от соседей его исходит запах клейкой сырости. Но раздражающая скука, которую он испытывал до рассказа Таисьи, исчезла. Он нашел, что фигура этой женщины напоминает Дуняшу: такая же крепкая, отчетливая, такой же маленький красивый рот. Посмотрев на Марину, он увидел, что писатель шепчет что-то ей, а она сидит все так же величественно.

Совершенный идол, снова подумал он, досадуя, что не может обнаружить отношения Марину ко всему, что происходит здесь.

— Вскоре после венца он и начал уговаривать меня,— если хозяин попросит, не отказывай ему, я не обижусь, а жизни нашей польза будет,— рассказывала Таисья, не жалуясь, но как бы издаваясь.— А они — оба приставали, и хозяин и зять его. Ну, что же? — крикнула она, взмахнув головой, кошачий глаза ее вспыхнули яростью.— С хозяином я валялась по мужеву приказу, а с зятем его — в отместку мужу...

— Эгэ-эгэ — насмешливо раздалось из сумрака, люди заворчили, зашевелились. Лидия привстала, взмахнула рукою с клювом, чернобородый Захарий пошел на голос и зашипел; тут

Самгину показалось, что Марина улыбается. Но осторожный шумок потонул в быстром потоке крикливой и уже почти истерической речи Таисьи.

— С ним, с зятем, и застигла меня жена его, хозяинова дочь, в саду, в беседке. Сами же, дьяволы, лишили меня стыда и сами уговорились наказать стыдом.

Она задохнулась, замолчала, двигая стул, постукивая ножками его по полу, глаза ее фосфорически блестели, раза два она открывала рот, но, видимо, не в силах сказать слова, дергала головою, закидывая ее так высоко, точно невидимая рука наносила удары в подбородок ей. Потом, оправясь, она продолжала осипшим голосом, со свистом, точно сквозь зубы.

— Вывезли в лес, раздели догола, привязали руки, ноги к березе, близко от муравейной кучи, вымазали все тело пасткой, сели, сами-то все трое — муж, да хозяин с зятем, на супротив, водочку пьют, табачок покуривают, издеваются над моей наготой, ох, изверги! А меня осы, пчелки жалят, муравьи, мухи, щекотят, кровь мою пьют, слезы пьют. Муравьи-то — вы подумайте! — ведь они и в ноздри и везде ползут, а я и ноги крепко-то зажать не могу, привязаны ноги так, что не сожмешь, — вот, ведь, что!

Близко от Самгина кто-то сказал вполголоса:

— Ой, бесстыдница...

Самгин видел, что пальцы Таисьи побелели, обескровились, а лицо неестественно вытянулось. В комнате было очень тихо, точно все уснули, и не хотелось смотреть ни на кого, кроме этой женщины, хотя слушать ее рассказ было противно, свищущие слова возбуждали чувство презрительности.

— Сначала-то я молча плакала, не хотелось мне злодеев раздавать, а как начала вся эта мошка по лицу, по глазам ползать, глаза-то жалко стало, ослепят меня, думаю, навеки ослепят! Тогда закричала я истошным голосом, на всех людей, на господа бога и ангелов хранителей,— кричу, а меня кусают, внутренности жгут — щекотят, слезы мои пьют... слезы пьют. Не от боли кричала, не от стыда,— какой стыд перед ними? Хочут они. От обиды кричу: как можно человека мучить? Загнали сами же, куда нельзя, и мучают... Так закричала, что не знаю, как и жива осталась. Ну, тут и муженек мой закричал, отвязывать меня бросился, пьяный. А я — как в облаке огненном...

Таисья пошатнулась, чернобородый во-время поддержал ее, посадив на стул. Она вытерла рот косою своей и шумно, глубоко вздохнула, отмахнулся рукою от чернобородого.

— Избили они его,— сказала она, погладив щеки ладонями, и, глядя на ладони, судорожно усмехалась.— Под утро он го-

ворит мне: прости, сволочи они, а не простишь — на той же березе повешусь. Нет, говорю, дерево это не погань, не смей, Иуда, я на этом дереве муки принял. И никому, ни тебе, ни всем людям, ни богу никогда обиды моей не прощу. Ох, не прошу, нет уж! Семнадцать месяцев держал он меня, все уговаривал, пить начал, потом — застудился зимо...

И, облегченно вздохнув, она сказала громко, твердо:

— Издох.

Люди не шевелились, молчали. Тишина продолжалась, вероятно, несколько секунд, становясь с каждой секундой как будто тяжелее, плотней.

Потом вскочил брат Василий и, размахивая руками, затрещал:

— Слышали, братья-сестры? Она — не каялась, она — поучала. Все мы тут опалены черным огнем плоти, дыханием дьявола, все намучены.

Встала Лидия и, постучав ключом, сердито нахмурила брови, резким голосом сказала:

— Подождите, брат Василий. Сестры и братья, — несчастная женщина эта случайно среди нас, брат Василий не предупредил, о чем она будет говорить...

Таисья тоже встала, но пошатнулась, снова опустилась на стул, а с него мягко свалилась на пол. Два-три голоса не громко ахнули, многие «взыскивающие града» привстали со стульев. Захарий согнулся прямым углом, легко, как подушку, взял Таисью на руки, понес к двери; его встретил возглас:

— Хватила баба горячего до слез, — и тотчас же угрюмо откликнулся кто-то:

— А — не балуй, не покорствуй бесам!

К Лидии подходили мужчины и женщины, низко кланяясь ей, целовали руку; она вполголоса что-то говорила им, дергая в плечами, щеки и уши ее сильно покраснели. Марина, стоя в углу, слушала Кормилицына; переступая с ноги на ногу, он играл портсигаром; Самгин, подходя, услыхал его мягкие нерешительные слова:

— А в аграрных беспорядках сектантство почти не принимает участия.

— Этого я не знаю, — сказала Марина. — Курить хотите? Теперь — можно, я думаю.

A. СЕРАФИМОВИЧ

ЕЖЕДНЕВНО ТВОРИМОЕ

Быль

Ревели автомобили; катились, визжа на поворотах и роняя синие искры, трамваи; спешили пешеходы; улицы кипели с утра до ночи и ночью жили, залитые светом дуговых фонарей, а по ресторанам музыка, вина, цветы, заморские кушанья, — буржуазия с удовольствием жила на свете.

На окраинах дымились фабрики. С зелеными лицами рабочие в неустанным труде созидали богатства. Крестьяне в невысыхающем поту добывали из скопой земли хлеб помещикам. Все было обыкновено, все было так, как привыкли, и никто не думал, никто не подозревал, что в этой привычной обыденной обстановке непрерывно сеялись чудеса, день и ночь сеялись чудеса, как невидимый, неощущимый дождь.

Нет, не святые творили эти чудеса, не праведники, не господь, не мать божия, не по-старинке творились эти чудеса, а... а как же? А вот послушайте.

Была пасха, пришла она в апреле 1912 года. Звонили колокола, и весело разносился звон в весеннем воздухе над рекой Проней. А вдоль речки раскинулось большое село Жерновицы, Рязанской губ., Спасского уезда. По всем избам ходил поп Иван с дьячком, гнусавили «Христос воскресе» и набивали мешки даяниями. Да мало показалось. Велел поп приготовить три лодки, взял двух работников, которые за гроши гнули на него свои хребты, позвал дьячка, подняли они раскрашенные доски, на которых были страшные морды князей, царей, разбойников, кои именовались «святыми», вооружился увесистым медным высеребренным крестом, и поехал по вздувшейся реке, по которой проносились льдины, на другой берег, в деревни Ершово и Муняково.

Целый день таскались они по деревням «крестным ходом» и доверху набили мешками с даяниями две лодки. Собрались ехать назад.

А тут приносят гроб с покойником, просят батюшку взять в лодку для отпевания в церкви. Батюшка взял и покойника и четырех к нему носильщиков — за мзду.

Пришли кум, кума и бабка, принесли новорожденного: крестить надо в церкви, — и их взял батюшка, тоже за мзду. И покойника с носильщиками и новорожденного с кумовьями и бабкой поп посадил в две нагруженные даяниями лодки, а сам с дьячком и с иконами сел в третью, пустую.

Собрались крестьяне на берегу, провожают духовного отца, поглядели на реку и говорят:

— Батюшка, неспокойна, гля, река, — виши, льдины гонит. Ты, батюшка, вели мешки выгрузить да с народом налегке поезжай, а мы тебе завтра сами все в целости представим, — к завтрему-то весь лед прогонит. А то, гля, как лодки осели, упаси бог, вдарит льдина — потонет народ.

Нахмурился поп, зажал крест и подумал: «Так вас распределят! оставь вам, начнете в мешки окунаться... сволочи!»

А вслух сказал:

— Сказано бо в писании: без воли господней волос не упадет, на все его святая воля. Греби!

Отчалили одна за одной лодки, и вышло так, как говорили крестьяне, — грузно осели две переполненные лодки, и стала их сердито захлестывать почернелая река.

Закричали люди:

— То-онем!... Спасите!

А работники стали кричать:

— Батюшка, дозволь скинуть два мешка с зерном, — виши, не выплыvем.

Поп закричал:

— Не смеите! Я вас анафеме предам.

И приказал дьячку:

— Перелезь, дьяк, к ним в лодку, а то, сукины дети, исподтишка скинут.

С большим трудом перелез дьяк, но как только перелез, хлебнула лодка бортом, и все очутились в сердитых волнах. Покойник поплавал-поплавал в гробу и опустился на дно. Маленький — разжала бабка руки в предсмертный час — хлебнул, и стало его не видать. За ним бабка, кум с кумой, а носильщики и особенно дьячок стали отчаянно бороться со смертью. Но дьячка потянула ко дну кружка, привешенная к шее и набитая медными деньгами от сбора. Скрылся и он. И носильщики. Только два поповских рабочих, молодые парни, не желая лезть

в царствие небесное, поплыли к поповской лодке, которая изо всех сил уходила от захлебывающихся людей, от криков, воплей и моления.

Ухватились работники за поповскую лодку, смотрят на попа страшными молящими глазами:

— Батюшка! Спаси нас!..

Кинулся к ним поп с перекошенным, звериным лицом — раз! раз! крестом по рукам, по головам, — те оторвались.

А на берегу толпы народа, почитай, вся волость сбежалась, бабы, мужики, дети, — плачут, мечутся: нечем помочь.

Причалил поп, вышел, расплатился, глаза горят, как у кошки, звериным страхом пережитого, и осенил народ крестом. И тут свершилось чудо: повалился народ ниц перед крестом, на котором густо краснела кровь поповских работников. Осенил крестом и заговорил по-церковному, нараспев:

— Подымайте, православные, чудом спасенные святые иконы. На ваших глазах в пучине морской погибли те, кому в неисповедимых путях господних начертано было погибнуть, чьи грехи господь видел всевидящим оком своим, но святые иконы господь незримо вынес ангелами своими и архангелами, херувимами и серафимами, дабы всему миру возвестить силу и славу свою.

Подняли иконы и всей волостью с пением двинулись к церкви.

Но это чудо не осталось только в селе Жерновицах, Рязанской губернии. Оно перекинулось в Москву и расползлось оттуда, как масляное пятно, по всей России.

В Москве капиталист издавал газету «Русское слово».

И то чудо, что поп творил в селе Жерновицах, когда у людей их собственные глаза видели одно, а ослепленный ум — совершенно противоположное, это чудо ослепления «Русское слово» совершаю над всей читающей Россией.

Через неделю после того как поп разбил судорожно вцепившиеся в борт руки своих работников, в «Русском слове» было напечатано:

«В селе Жерновицах, Рязанской губ., Спасского уезда при переезде на трех лодках причта с иконами и богомольцами через разлившуюся реку Проню от ледохода две лодки с богомольцами погибли, а лодка со св. иконами и священником отц. Иоанном чудесно спаслась».



K. ТРЕНЕВ

ЗАБЛУДИЛИСЬ¹

I

В гостях у ссыпщика Кудыкина, кроме стационарного купечества и начальника станции с кассиром и телеграфистами, был еще о. Емельян с матушкой и причтом, и Косенко, землевладелец из слободы.

Такое вышло приятное совпадение: как-раз в день именин Аксиньи Никитишины закончилась приемка шестисот четвертей овса, купленных Кудыкиным у Косенко. Кроме того, у Косенко же Кудыкин купил безрогую корову, получившую на выставке похвальный лист.

По этому случаю о. Емельян, благочинный из слободы, куда станция была приходом, служил молебен. Было приятно слушать его проникновенные возгласы.

За окнами бушевала метель: слышно было, как гудит где-то по крышам, и кто-то невидимый в темноте, злобно шипя, бросает в окна горсти снега. А в комнатах было тепло и уютно. С тихой лаской горели на столе свечи в серебряных подсвечниках, и блестели живым теплым блеском старинные оклады икон, и натертые полы, и полированные спинки кресел в гостиной. В мягком ласковом голосе батюшки, когда он молился «о мире, здравии, спасении, прощении и оставлении грехов рабов божиих Антония и Ксении», дрожала искренняя молитва. Чуть доносился далекий хриплый свисток где-то пробирающегося через снежные поля, занесенного вынужденного поезда, но от этого беспомощного звука в комнате и на душе становилось еще уютней и теплей...

Впереди, за батюшкой, стояли хозяева — Кудыкин, высокий старик с коротко подстриженной круглой бородой и желтыми от табака усами, с белыми нависшими бровями, и именинница,

¹ Печатается в сокращенном виде.

полная старуха с маленькой длинной головой, в пышной, широкой книзу шелковой юбке, так что вся она походила на конус.

В заключение молебствия о. Емельян, по обычаю не оставлять прихожан без назидания, сказал приличествующее случаю краткое слово: призывал благословение божие на новые покупки и молитвенно желал хозяину дальнейшего приращения в хозяйстве и присно-полезной купли.

Кудыкин выслушал слово с серьезным вниманием, не шевельнув нависшей бровью, а Аксинья Никитишина — благоговейно скрестив руки на животе, умиленно вытерла слезы. Потом о. благочинный пожелал окропить святой водой корову. По стеклянной галерее и через кухню прошли в конюшню, вслед за батюшкой и хозяевами, Косенко и кое-кто из гостей. Вечно сердитый работник Яроха посветил вставленной в фонарь страстью свечкой: рядом в двух стойлах стояли гнедой жеребец и черная безрогая корова.

Батюшка окропил корову и заодно лошадь и поздравил хозяйку со столь пристойным именинным подарком. А Аксинья Никитишина еще раз вытерла слезы.

— Хорошая корова! — сказал лавочник Устим Кузьмич, похлопав коровку. — Просто как редкость!

— Да уж когда я продаю предмет, — сказал Косенко, — то кроме, как благодарности, ничего мне не скажете! На три губернии только две их и получили похвальные листы! Так эту я купил, а другую — граф Цуциковский.

Косенко хвастливо подмигнул черными, маленькими, чуть бегающими глазами и покрутил усы.

Вернувшись из конюшни, пили чай, а потом до самого ужина выпивали и закусывали. В кабинете Кудыкина составилась стулья на два стола. В гостиной молодежь танцевала под гитару, и в перерывах кассир Егор Степанович показывал фокусы с исчезновением монет и рассказывал анекдоты о московских протодьяконах. Устим Кузьмич сидел в столовой рядом с о. Емельяном и, радостно оглядываясь на всех, говорил:

— Вот нам господь послал батюшку отца благочинного!.. Просто как редкость! Ей-богу... Действительно, говорится, пастыры!.. Отец Емельян!.. Сколько вот я ни видел, по городах даже, ну чтобы такого службиста и проповедника, как отец Емельян! — никогда! Ей-богу — не брешу!

Все искрение соглашались, а о. Емельян ответил, снисходительно улыбнувшись:

— За что-нибудь же владыка доверил мне в сорок два года руководительство четырнадцатью причтами...

...За ужином о. дьякон провозглашал многолетия, а телегра-

фист Мирошниченко хотел сказать речь, но опрокинул соусник.

А после ужина о. Емельян собрался уезжать: завтра с утра похоронь, потом ехать на ревизию по благочинию. Косенко думал было с утренним поездом ехать в город. А поезд застрял где-то верст за двести в степи: надо ждать только к вечеру. Косенко решил вместе с батюшкой вернуться домой.

Причт уехал раньше на собственных лошадях, а матушка осталась погостить у приятельниц. Поэтому Кудыкин велел заложить жеребца в маленькие двухместные санки.

II

Когда батюшка с Косенко, выпив «посошок», садились в санки, ветер густо гудел вокруг двора и стучал где-то на амбарам железнным листом. Но во дворе у крыльца было затишье. Дымились неровные тяжелые края крыш, и, при свете из окон, плотным роем вились белые мухи. Вороной конь пугливо озирался, а Яроха, сгорбившись, недвижно сидел на облучке и глухо рычал на него из капедюха:

— Гrr!.. Чорт его знает! Держат тут с запряженным конем два часа. Никак с жиру не набесятся!

Только-что сели в сани,— из кухни вышла кухарка с пустыми ведрами и быстро прошмыгнула впереди лошади к калодцу. Косенко тревожно крикнул:

— Куда ж то тебя черты несут поперек дороги с порожнею посудою!..

— С богом,— сказал о. Емельян.

Кухарка стукнула ведрами о сруб, а жеребец пугливо шарахнулся в сторону — чуть санки не опрокинул, — вынес за ворота и помчался, разевая гриву, по занесенной снегом улице, мимо спящих домов и лавок.

Короткая улица скоро кончилась. Остался в стороне вокзал с одиноко шипящим на путях паровозом. Снизу, из трубы сноп огня золотил его белый дым. Миновав почти занесенный снегом зеленый огонь на стрелке, поехали вдоль высоких железнодорожных посадок. Здесь, в поле, мело так сильно, что чуть темнели деревья, только слышно было, как гудит в них метель.

Закрывшись волчьим воротником, Косенко говорил, презрительно фыркая:

— Тоже! Купечество, подумаешь, собралось! Налезли к станции, как... как саранча, на нашего брата хлебороба! Повыскачивали сюда из вагонов карманные жулики, да и чваняются купечество! Я на их... Да чего он у тебя виляет? Ты, Хивря! — крикнул на Яроху.

— Домой хочет, вот и виляет!

— Да вожжи у тебя в руках? Чорт идолов!

— Нет, без вожжей поехал! — прорычал Яроха. — Может, у самого такие кони, что без вожжей...

— Что-то оно там бурчит! У меня таких буркунов полон двор!.. Сворачивай!.. Ослеп?..

Действительно, на этом месте заметенная снегом дорога сворачивала от железной дороги в слободу. Чуть маячили рядом занесенные вешки. И как только свернули, встречный ветер стал сильнее сыпать густым снегом в лицо.

Закрываясь от него воротником, Косенко продолжал, выкрикивая слова:

— Они должны передо мною навытяжку стоять! Верно я говорю, отец Емельян! Потому что я для этого народа хлеб горбом добываю!

— Пузом, а не горбом! — проворчал Яроха.

— А тебе, сукин сын, что нужно? За конем наблюдай! А то я тебе поговорю!..

— У мужика от трудов горб растет, а у пана от трудов — пузо... Имеется при санках три предмета: конь, чтобы санки везти, кучер, чтобы конем править, а пан — чтобы саням весу прибавить.

— Господи Иисусе, — сказал о. Емельян, — всякий, прости господи, червь в философию углубляется...

— А вот я ему, черту, дам по шее, так он у меня сторчоком в снег углубится!

Яроха сказал:

— Не имеешь полного права! Не ты меня сажал, не ты и смешишь... Посади на свои сани да и смеши!

— А ну, еще поговори!.. Мразь!

— Меня с козлей может сместь только хозяин, господин Кудыкин, да государь император! Больше никто не может сместь!..

— Э, сволота! — Косенко, схватив Яроху подмышки, швырнул его в снег.

Яроха ухватил было рукавицей вожжу и потянулся за санками, но Косенко вожжу выдернул и, приподнявшись, хлестнул кнутом жеребца. Лошадь рванула, а кучер что-то крикнул вслед.

Но слова его и облепленная снегом фигура быстро потонули в ревущей белой мгле.

— Я у себя в экономии таким зубарям с одного замаху кутние выбиваю!.. Пущай, чорт, домой вертается! Без него доехем!

— А с лошадью как же быть? — спросил о. Емельян.

— А я ж на ней днем к поезду поеду.

— Не сбиться бы, по вешкам...

— Да я тут по пальцам доеду!

Проехали Жиркину балку, летом глубокую, а теперь почти до краев занесенную снегом. Лошадь прошла по брюхо, а сани плыли по мягкому снегу, будто лодка. За балкой уже была косенкина земля, и дорога шла вдоль межи по бугру. Не то усилилась метель, не то потому, что выехали на бугор, — с трудом можно было разглядеть придорожные вешки.

— Коммерсанты! — продолжал Косенко прерванный разговор. — На кисель шкурку натягивают.. Вот я уже дома! Три verstы буду ехать, и все — на своей земле, как на своей постели! А это жулье — на стул сидет, так и тот чужой. Коммерция... Ну, я им вскорости покажу коммерцию! — сказал он, одергивая лошадь левой вожжой.— Я им одну машинку подстрою! Они узнают, как Косенко по батюшке величают.

— А в чем именно сущность дела? — осторожно полюбопытствовал о. Емельян.

— А это, извините, отец Емельян, тайна мадридского двора называется... Ну, вы только гляньте, куда эта сатана вернет!.. Домой? — крикнул, раздирая коню рот и задрав ему голову под дугу. Конь пошел шагом через недвижно шипящие волны снега, так как дороги уже не было.

Заметив это, Косенко выругался и стал нахлестывать лошадь.

Благочинный сказал:

— Этак путь потерять можно!

— Да уже потеряли... Разве это конь, который дорогу держать не может! Я такого коня в экономию под машину не возьму! Я, отец Емельян, если ездить, так чтоб земля трусилась! Я на своем Орлике, знаете, в какое время до станции долетаю? За четверть часа!

— Ну, это, я думаю, вы отчасти преувеличиваете.

— Чего ж я буду увеличивать! Я на практике расскажу! Прошлым летом мне нужно было в Харьков почтовым ехать. Только-что за клуню, вот на этот самый шпиль выехал, а поезд уже возле Лукьяновой будки! Дым видать...

— А уж пора бы и нам возле клуни быть.

— Сейчас будем. Ну, я как крикнул: «Граблять!» — так он и до земли не торкается. Почтовый к вокзалу с одного боку, а я с другого! Так пассажиры и ахнули! Вот это конь!.. Да уж я... А вот и клуня.

Вдали засерело. Но проехали несколько шагов — что-то совсем близко шевелится. Конь испуганно насторожил уши и не хотел идти дальше.

— Я из тебя переполох вылью! — сказал Косенко, вылезая из саней. Ударил коня кулаком в губу и пошел туда, где село. А благочинный всмотрелся в противоположную сторону: тоже вдали сереют два пятна, — стога или строения. Взял вожжи и направил было коня туда. Но конь, захрапев, круто повернулся в сторону. Остановив его, благочинный вылез из саней и, путаясь в широких полах меховой рясы, пошел на пятна, которые оказались в двух шагах. Это были два большие несорванные подсолнуха.

О. Емельян подумал: «Бахчи чыи-то».

Попробовал сорвать один подсолнух: может, с зерном. Но он обледенел и был весь в снегу. О. Емельян повернулся к саням. Конь навстречу ему тревожно всхрапывал, и, чтобы не пугать его, о. Емельян, обходя, взял вправо, к саням. Но наступил на полу и, спотыкаясь, взмахнул широким рукавом. А конь искося глянул и с храпом помчался прочь.

О. Емельян закричал вслед:

— Тпру! Тпру, окаянное животное!

Бросился вдогонку и опять споткнулся, а лошадь быстро утонула в белом море.

— Да держите же!.. Куда вас понесло! — закричал вслед Косенко. Подошел ближе.— Вы тут!.. Да зачем же лошадь упустили?

Бросились вслед по свежему глубокому следу. Но скоро остановились передохнуть. О. Емельян сказал:

— Дело такое, что надо торопиться, пока следы не замело. По следам, бог даст, к станции приедем.

— Тю! — рассердился Косенко.— На греца ж нам пять verst до станции переться, когда дом под боком!

— Да где ж он, ваш дом?

— Сейчас найдем!.. Это мы на моей бахче. Значит, до дому верста. Ну не проклятый — куда вбок хватил!.. Нужно прямо на ветер правиться... Вот он откуда дует.

Решительно пошел на ветер, а о. Емельян за ним. Стал было что-то говорить ему, но бурей отрывало звуки у самого воротника и тут жетопило их в снежной пучине.

— Стойте-е! — закричал тогда о. Емельян, стараясь рассечь гул резким голосом.

Косенко остановился:

— Ну?

— Я говорю: почем вы знаете, что это ваши бахчи?

— Чтоб я да не знал!

— Может, это мужичи, как-раз с другого конца слободы... Тогда нам надо в противоположную сторону итти.

— Да что я, по подсолнухам не вижу! Разве у мужиков

может быть такой огромный подсолнух! Это я из Воронежской губернии по два сорок выписывал!

Опять пошел по сугробам под ветер. Но, пройдя немножко, остановился: ветер дул, залепляя снегом глаза, как будто уже с другой стороны. Косенко послушал его и круто повернул в сторону. Но скоро опять остановился:

— Чорта с два тут разберешь! Крутит, как конь хвостом от мух!

— Покорнейше благодарю! — закричал о. Емельян и бросился назад, приглядываясь к только-что проложенным следам ног. Их быстро заносило снегом, все же о. Емельян добежал по ним до того места, откуда убежала лошадь. Уже чуть виднелся поворот саней. О. Емельян бросился по санным следам, но они скоро исчезли. Он нагнулся, шаря по снегу, а следов так и не было. Перевел дух, выгреб снег из-за воротника и сказал догнавшему Косенко.

— Ах вы, хам!

— Это за что же? — спросил Косенко, тоже выгребая снег.

— Во-первых, какое вы имели право кучера сбрасывать?

— Это мое дело. А вот зачем вы лошадь упустили?

— Я тоже дорогу искал.

— Вот теперь и поискайте!

— Во-вторых, не слушай ваших глупостей, да устремись сразу за лошадью, — мы б уже до железной дороги добрались... Скотина!

— Да позвольте ж, отец Емельян! Вы будете словами выражаться, я тоже могу подобрать что-нибудь подходящее: насчет жеребячей породы, скажем... От этого дорога не прояснится. Нужно от бахчи линию держать.

— Держали уж...

III

Косенко опять стал искать направление ветра: шел то в одну, то в другую сторону, часто пересекая собственные следы. Искал и не находил ни признаков дороги, ни подсолнухов и по колени увязал в снегу.

— Погано! — сказал он.

Благочинный, тяжело дыша, шел за ним молча. Потом остановился и чужим, захлебывающимся от ветра и ужаса голосом закричал:

— Карап-ул..

— Угу-гу-гу! — гудели кругом тысячи голосов. И когда Косенко увидел, что эти голоса поглотили батюшков крик тут же у его облепленного снегом рта, — хлюдное дыхание выруги

пахнуло в рукава, и охваченное им тело задрожало мелкой дрожью, такой нестерпимой, что Косенко бросился бежать, уже не думая ни о дороге, ни о направлении ветра. Бежал и о. Емельян, сначала следом, потом все отставая.

И куда и как долго бежали они, — теперь уже не знали.

Остановился сначала батюшка — перехватило дыхание, — потом — Косенко.

Вдруг справа от Косенко сверкнул огонек — чуть уловимая глазом искра. Косенко бросился к нему, и хоть огонек мгновенно потух, Косенко бежал по тому направлению, где он сверкнул. Но через несколько шагов увидел огонь слева. Бросился туда, а он блеснул уже с другой стороны, и, не спуская с него глаз, побежал на него Косенко.

Но вот огоньки стали сверкать и тухнуть со всех сторон. Косенко остановился:

— Волки?

Но вдруг вспомнил:

— Черти... Так же вот заводили на смерть Корнея.

Случилось это лет сорок тому назад, а мерзлый, с выпущенными глазами, Корней сразу всплыл, будто это было сегодня. Шел с марфиным сыном — также в метель со станции в слободу. Корней замерз, а марфин сын, попав на железную дорогу, остался жив, только говорить стал — будто шмель гудит, — и рассказывал, как черти, воя и сверкая глазами, кружились над ними и катали их по снегу. И слушать его под вой метели на чердаке было до того страшно, что семилетний Косенко не спал夜里, а когда прилетели с поля и начали метаться под окнами тысячи воющих бесов, он в ужасе разбудил неистовым криком спавшую рядом бабку и весь дом.

А теперь вслушался — все полно глухим воем, и нет места другим звукам. И вдруг охватил тот самый детский ужас и нестерпимый холод, — затрясло всего. Он пустился бежать, а шуба распахнулась, и раззвевались ее полы. Кричал и звал о. Емельяна. Но тот утонул где-то в снежном океане. Косенко побежал назад по следам. Их было сначала много: свежие путались с занесенными, чуть заметными. Потом все исчезли.

— Батюшка-а! — закричал Косенко. И увидел в трех шагах колеблющийся силуэт о. Емельяна. Голова и плечи его курились снегом. Косенко, схватив его за руку, закричал:

— Батюшка, молитесь!

— Не поможет, — сказал батюшка.

— Может, еще и поможет!.. Вы ж приставлены.

— А! Устроил погибель, а теперь — «молитесь»?

— Ну, что ж, каюсь... Многим грешен.. Господи!.. Не дай наглой смертью пропасть!

Косенко вспомнил именины у Кудыкина и благолепный молебен и комнаты с веселыми гостями — как давно это было: Будто многие-многие годы легли между именинами и этим страшным часом. А детство с мерзлым Корнеем вот оно — неизмеримо ближе, чем вечеринка у Кудыкина.

Бывало, мальчиком этой же дорогой ездил при фурах с пшеницей на станцию. Зная, что за малейшую неисправность зверь-отец будет ненадено бить, маленький Косенко всю дорогу, замирая от страха, молился и давал обеты, если дело обойдется без бою, сорок поклонов положить и дать слепой нищенке Палашке три копейки. Лишь после смерти отца Косенко перестал давать обеты и облегченно оставил страшную молитву.

И теперь, увидев себя жалким, беспомощным, как в детстве, он закричал:

— Батюшка! Заказную обедню отслужу с молебствием... Дегтевским мужикам две тысячи триста верну, что по двойным распискам получил...

— Хм! — гневно осклабился о. Емельян. — Мужикам тысячи, а священнику гроши!..

Злобно вытряхнул снег из рукавов и пошел.

— Чалого коня вам пожертвую!.. В Киев пешком схожу! В Ерусалим! — сипло кричал ему вслед Косенко, силясь перекричать выигу. — Слобожане сено у меня покупают: тот скирд, что за клуней, даром отдам!.. Господи!.. Батюшка!..

Батюшка шел, ничего не отвечая. Не хотелось верить, чтобы так нежданно, именно в этот час, оборвалась на диво хорошо налаженная жизнь.

О. Емельян был всегда тверд в своей вере, ибо воочию видел все проистекающие от этой веры блага, и ладеся ему по вере его. За ревность свою превознесен он превыше многих; за то, что неустанно поучал, совершаил ближние и далекие крестные ходы, творил доносы, устно и письменно, на нерадивых сослуживцев, — за все это он окружен в благочинии почетом, в семье примерной супружеской любовью. И приемля это благоговейно и с умилением, о. Емельян глубоко верил, что жизнь и впредь будет исполнена всяческих благ, ибо и впредь пре-будет бог и епархия с благочинием и церковь с каждением и словами о рае и аде. Изо дня в день, провожая туда мертвых, он горячо убеждал живых, что все туда последуем, и чем более убеждал памятовать час смертный, тем менее думал о том, что этот час ждет и его, о. Емельяна. Теперь он шел по полю и думал, что все это чья-то злая шутка, которая — еще несколько шагов — и кончится. Но шутке конца не было, и о. Емельян остановился, тяжело дыша, сказал:

— Не могу...

— Значит, край? — сказал Косенко.

— О! — взвыл батюшка и бросился бежать, но упал лицом в снег. Силялся подняться, а руки, не слушаясь, набирали снегу в рукава, и он барабахался, будто ныряя и захлебываясь, всхлипывал и хрюпал. Косенко стало еще страшней. Он помог батюшке подняться, и опять оба побежали.

Не было ни времени, ни земли, ни неба — все слилось в бушующий, холодный хаос. Казалось — воет и клубится бесконечность. А Косенко с батюшкой, седые с головы до ног, будто прожили вечность и стали древними, бежали от жизни в бездонную смертную даль... Метались в мутном хаосе два сотканные из белой курящейся пыли привидения...

А сил уже не стало, и, думая, что бегут, спотыкаясь и баражаясь, топтались оба в сугробах почти на одном месте. Потом остановились.

— Батюшка, — сказал Косенко, отдошавшись, — давайте ямку рыть... Пока хоть капля мочи...

— Это зачем?

— Ляжем в ней рядом... Теплей. Может, еще господь смигнется: откопают нас...

— Едва ли...

— Хоть бы палка или подсолнух — платок бы повесить.

Стали разрывать руками снег. Вдруг о. Емельян радостно вскрикнул, схватив обеими руками найденную в снегу калошу.

— Люди!

Но Косенко, ощупав свою ногу, сказал уныло:

— Моя это калоша... Сейчас снялась...

С трудом вырвал ее из коченеющих рук благочинного: не хотел о. Емельян расстаться с последней чертой жизни, с надеждой спасения.

Вырыли яму по пояс, сели передохнуть и молчали; только подумал каждый:

«Могила»...

И Косенко, слыша, как у о. Емельяна четко застучали зубы, сказал себе:

«Смерть идет»... Дыхнуло на него мертвым дыханием, и сразу упал и погас бушевавший животный ужас. В душе осталась только могильная тишина да нечеловеческая, неведомая дотоле тоска. Косенко вспомнил ад с муками, о котором часто слышал от о. Емельяна, но страха уж не было. Только черные деяния встали с острой отчетливостью и придавили смрадной тучей уже оторванную от жизни душу. Косенко сказал в смертной тоске:

— Батюшка! Дай крест!.. Поисповедуй...

Но батюшка не слушал и сквозь замерзшие усы кого-то злобно спрашивал:

— За что?

Косенко полез к нему за пазуху.

— Прочь! — взвизгнул о. Емельян, услышав, как сразу пахнуло холодом под рубаху, и торопливо запахиваясь.

А Косенко держался за наперсный крест и, тоскуя, говорил:

— Грехи на мне великие!.. Девица ребенка от меня задушила!.. Грабежом да обманом жил!.. У Куряева три тысячи украд!.. Табунщика Федора насмерть забил! Сотней откупился... Семь лет не говел.

Батюшка вырвал, наконец, крест, запахнулся:

— Что ты дурака ломаешь? Кому это теперь нужно! Не пред кем... оба оклеем...

— Батюшка, бог...

— Где он бог? Бог был, когда я был поп, а ты земле... вле... — мерзлые губы не выговаривали длинного слова.

Взвизгнул, будто железом по льду провел. Душила смертная злоба. Хотелось кричать, а слова не шли.

А над ямой уже поднимался бугор, сыпало с него на шапку благочинному; яма, казалось, оседала, и Косенко с душой уже тянули ледяные руки.

Ухватившись за колени о. Емельяна, торопливо выбрасывал из души огромный и еще недавно ценный ее груз — тяжкие грехи.

— Сестру перед женихом оклеветал, чтоб ее частью завладеть... Кудыкина сегодня обманул — корова не с выставки: ушибая куплены... две дойки спорчены... Что с выставки, та на хуторе! Насчет овса с его приказчиком стакнулся: под видом шести — пять тысяч триста... с овсюгом!..

Батюшка молчал, а Косенко все сбрасывал ему беззаконные одежды, за которые схватила его рука смерти.

— Отец благочинный! Сними грехи... Прости...

— К черту! — прохрипел благочинный. — Шкуру вот волчью снимут, и край... и мне, и богу моему... у-гу-гу... Двадцать лет кадил ему и людям, а за это собачья смерть в поле! Чорту баран... Но почему именно я?.. — В бессильной злобе и отчаяния скрипел зубами, рвал непослушными пальцами бороду, с вечера — жиленькую, русую, а теперь — огромную, седую.

— С матушкой я грех имел! — кричал Косенко.

— А!.. собаки... — о. Емельян приблизил к Косенко белое, как маска старика, лицо и отхаркнулся: хотел плюнуть, но обледенелые губы не повиновались. — Танцует!.. проклятая... Все загребет...

Вдруг Косенко услыхал сквозь смешанное с зубовным скре-

жетом клокотанье сдавленный хрипящий вой,—так не воют ни люди, ни собаки, а только грешники в аду. Нет сил снести его...

Нестерпимая сжигающая сила швырнула Косенко куда-то прочь — слетела шапка, и опять ярко сверкнули перед глазами тысячи огней. Придя в себя, почувствовал он боль в переносице и наткнулся рукой на что-то твердое. Стал ощупывать и долго не мог понять, в чем дело.

А когда догадался, что это подпорка у какого-то забора, закричал не своим голосом. Рядом намело огромный сугроб, с которого Косенко слетел вниз, а у самого забора было тихо и мало снегу. Пройдя вдоль забора, Косенко узнал собственный двор и опять стал кричать, что есть силы, и стучать кулаками и коленями в ворота. В ответ хозяйственно подняли лай проснувшиеся собаки.

— Матушки! — закричал Косенко. — Родные!..

Через несколько минут сестра Косенко, седеющая девица с заостренным увидшим лицом, охая и плача, растирала гусиным жиром отмороженные лица и руки батюшки и Косенко и отпаивала обоих старым ромом.

Косенко все еще никак не мог притти в себя от ужаса, все билось что-то внутри, и неудержимо тряслось большое тело, и все твердил, встряхивая лысеющей головой:

— Вот какая она, смерть!.. Видал я ее.

А в о. Емельяна снова вливалась вместе с теплым ромом совсем было вымороженная жизнь, и он, прыгая, как мальчик, говорил:

— Значит, живем еще!.. Теперь поживем! Зане господь не хощет смерти грешника, но еже спастися ему!.. Хи-хи-хи!

И смеялся детской радостью.

Но вдруг оборвал смех, глаза злобно потемнели и стали косить. Молча вышел в переднюю и стал одеваться. Косенко с сестрой пытались удержать его. Но батюшка даже не простился — ушел домой.

IV

Наутро звонили в церкви в большой колокол — батюшка служил благодарственный молебен по случаю чудесного избавления. А Косенко, закутавши подмороженное лицо волчьим воротником, вышел во двор. Было морозно и ясно, слабо дул восточный ветер. На амбарах и сараях были надеты новые белые шапки, а в палисаднике на деревьях висели огромные ключья белой ваты. Косенко вышел за ворота. Кругом стояли огромные сугробы: края их, капризно закругленные, словно изваянныне из белого мрамора, чуть курились мелкой снежной

пылью. Выбежавшая за ним большая дворовая собака стала весело кататься по рыхлому снегу — должно быть, опять на метель, — и, увидав это, Косенко засмеялся от наполнившего грудь счастья.

Потом он прошел к тому месту, где наткнулся ночью на забор. Там тоже стоял высокий обрызистый сугроб. Края его в одном месте сдвинуты. А наверху в снегу — наполовину занесенная яма, и уже чуть видны спутанные следы к ней.

«Вот так черти пьяных берут!» — подумал Косенко.

Ослепительно блестела под голубым небом серебряная равнина, а Косенко всмотрелся в занесенную снегом яму и следы, вспомнил, как бахтался в снегу о. Емельян, и под меховой его шапкой зашевелились волосы, и сковала внутри морозная дрожь: встал смертный ужас ночи, такой близкий... В реве метели грозная смерть и карающий бог... Правда говорится — все под богом ходим!.. Надо выполнить данные обеты!..

В полуверсте, на подъёме, белой пирамидой высилась клуня. Перед ней стояли три небольшие стога сена, а за клуней, на самом бугре — громадный длинный скирд, тот самый, что обещан ночью слобожанам... Там сложено лучшее степное сено... По стогам ходили вороны, кружились воробы.

«Сколько ее, проклятой птицы! — подумал Косенко, вспомнив обет. — Сказано было — за клуней... Ну, хорошо. Блудили мы, когда эти слова я говорил, по ту сторону клуни. Значит, так оно и выходит! За клуней нужно считать не большой скирд, а какой-нибудь из этих маленьких. Пускай берут вот этот крайний, бог с ними».

За клуней на бугре ветряная мельница медленно поднимала в синеву неба серые крылья, будто в раздумье руками разводила. Мимо нее, по дороге из затерянной в сугробах слободы, на станцию тянулись облепленные снегом сани. Это дегтевцы, в слободе ночевали.

Косенко вспомнил обет вернуть им полученные по двойной расписке две тысячи триста.

«Собственно, суд уже присудил... Значит, придется против суда ити?.. Это надо будет еще обдумать. — Потом еще вспомнил: — Киев... Ерусалим... Ну, туда при старости лет полагается... Может, господь, по грехам, и не допустит»...

Косенко прошел на скотный двор и оттуда по унавоженной дороге спустился вниз к колодцу, где работники откапывали деревянными лопатами занесенные снегом корыта. За колодцем серели по берегу речки заваленные сугробами старые вербы. Мимо них шла дорога из имения в слободу. Все с детства знакомое и радующее теперь буйной радостью.

У самого колодца Косенко догнал церковный сторож, дед

Пилка, с письмом от батюшки и с уздечкой. Батюшка писал:
«Милостивый государь Иван Димитриевич!

Во исполнение обета, данного вами в страшный час смертной опасности, и в благодарность за чудесное спасение от явной смерти, благоволите вручить подателю сего, церковному сторожу, коня, по кличке Чалый.

Благочинный протоиерей Емельян Доброславский».

— Ну, это уж — черта с два! — сказал Косенко, и подмороженное лицо его налилось кровью. — Скажи своему благочинному, что я обещал ему коня, — думал: он пастырь... Пусть раньше в бога поверует! Так и скажи!

Пилка ушел, а через полчаса принес новую записку:

«Не вам судить сокровенные духа человеческого, тем паче — иерейского! Один только сердцеведец бог испытует сердца. Иереем же бога вышнего я был, приемля от вас обеты, как пребываю и днес! И если вы отрекаетесь от своих слов, то: не человеку соглал еси, но богу (Деян. V, 4). Единственное, в чем согласился бы с вами, это — если бы вы стали утверждать, что я не совершил над вами таинства покаяния. Ибо я в вашем покаянии не принимал участия и ни вопросов, ни разрешения не давал вам. Да и епитрахили на мне не было; следовательно, сознание ваше в том, что вы обманули такого почитенного человека, как г. Кудыкин, у коего мы с вами хлебсоль вкушали, я считаю, обычным житейским сознанием. И сокрытие сего преступления означало бы для меня недостойное сана участие в оном»...

Косенко выругался и велел конюху надеть на Чалого батюшкуну уздечку. А потом написал записку:

«Я за конем не устремлю и от слова никогда не откажусь. А что насчет разговора вы загнули, то я так думаю, что в перепуге, как во сне, человек за свои слова не отвечает. Иproto, что у меня или у вас с языка выскочило, то лучше давайте единогласно молчать».

Подумал и добавил:

«А что насчет матушки, то прошу мою ошибку разложить и на прочих друзей».

Засмеялся спрятанными глазами и сказал в поседевшие за ночь усы:

— А ну, поломай теперь голову, мудрец египетский!



В. ИЛЬЕНКОВ

ЗА КАНАВОЙ

Кузьму Новоторова, с которым мне давно хотелось познакомиться, я не застал дома. Мне сказали, что он с утра поплелся на кладбище, и указали на редкие березы, стоявшие в километре за околицей.

Туда, к этим березам, вела узкая дорога с мелкими и удивительно ровными, как рельсы, колеями, между которыми рос подорожник и белый мелкий клеверок-самосей. Видно было, что по этой дороге ездят давно-давно, но редко и очень медленно.

Канава вокруг кладбища, когда-то широкая, теперь заросла, — время стерло черту, проведенную людьми между кладбищем и березовым кустарником. Крестов над могилами не было, лишь кое-где виднелись каменные, врезавшиеся в землю плиты. На одной из них сидел Кузьма в длинной — до колен — холщевой рубахе, босой и растирал на ладони нюхательный табак.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я.

— В порядок произвожу... Загадили. Теперь народ о смерти не думает... не хочет думать. Закопал и ладно.

Голос у Кузьмы чистый, грустный, как флейта. Оглянувшись, я увидел палки, обломки камня, сухие веточки и разный мусор, собранный в небольшие кучки. Возле березы стояли грабли с поломанными зубьями и застрявшими между ними листьями.

— Я и говорю им: бесстыжие вы, об родителях позабыли, а родители может куска не доедали, вам берегли... Теперь вы в съесть вошли и родителей вспомянуть должны. А они смеются... Вот и взял я грабельки, сгребаю... Добровольно. А мне за это надо б трудодни писать. Как ты думаешь, надо?

— Конечно, нужно. Вот и канава заплыла...

— Канавы тут и не надо, пускай так... И правильные и неправильные покойники теперь все вместе сошлись.

— Это что же за покойники такие — неправильные?

Кузьма запустил в ноздрю щепотку табаку, шумно втянул, блаженно щурясь, судорожно чихнул и вытер заслезившиеся глаза.

— Глазами плох стал. А как понюхаешь, прояснение от табаку... Ты попробуй,— Кузьма протянул мне на ладони темно-зеленую пыль, пахнущую мяты.

— Нет, я лучше закурю.

— Кто курит, тот в пеклу турит, а кто нюхает, тот за ним трухает,— засмеялся Кузьма и, хитро подмигнув мне, сказал с какой-то наигранной дерзостью: — А пекла никакого, слышать, нету... Ни черта нету! Земля! Одна она всех одинако принимает, и правильных и неправильных... Тут вот под березами хоронили правильных, которые своей смертью, от старости или там от хвори какой кончались. За канавой, в березняке, неправильных закапывали, какие сами давились или, скажем, заливщики... Ну и другой веры людей, ежели покойник Махомету поклонялся или, скажем, на сучок молился...

К нам подошел курносый парнишка с красным галстуком на загорелой шее,— он держал в руках спичечную коробочку.

— Все жуков собираешь? — спросил Кузьма.— Это внук мой. Забил себе голову жуками — полную избу наносил... Немоляка! Таких вот немоляк за канавой хоронили... И крестника моего Агафона там закопали...

И Кузьма неторопливо повел рассказ о человеке с тройным именем и не поймешь — какой веры.

...В душный июльский полдень, когда доспевала рожь и над полями стоял радостный сладковатый запах, у Тараса Бондарева родился первый долгожданный сын. Пелагея рожала долго и трудно. Чтобы облегчить ей страдания, Тарас перекинул через крюк, вбитый в стену, веревку, Пелагея ухватилась за нее, тужась, крича во все горло, криком и напряжением ускоряя роды.

Тарас уже давно приготовил зыбку из лубка. Он ввинтил в матицу кольцо, прорезал в него тонкую березовую жердь и на гибком конце ее укрепил на веревке зыбку,— она заплывала плавно и мягко, нежно поскрипывая.

Дико вытаращив глаза, налитые кровью, Пелагея пронзительно вскрикнула, и на охапке соломы закопошился крупный горластый младенец.

— Сын! — радостно вздохнул Тарас,— он боялся, что рождается дочка: девка в хозяйстве — один убыток, корми ее, ра-

сти, готовы приданое и думай, как бы сбыть ее с рук,— все из дому несет.

Сын — прибыль в хозяйстве, с восьми лет — работник, а под старость — кормилец,— все в дом несет.

Тарас пошел к соседу Кузьме, которого он наметил кумом. Кузьма уже собрался в поле, делать зажинки. Ему не хотелось терять целый день на поездку в село к попу и было жалко полтинника за крестины. И отказать нельзя было, — Тарас крестил его двух детей. Кузьма молча отправился за прятать лошадь.

— Агафоном желаю назвать,— сказал Тарас, заботливо оправляя солому в телеге.— Так и скажи попу: Агафоном... И дед был Агафоном и сын пусть Агафоном будет...

Отправив кума с кумом, Тарас зашел в кабак, купил бутылку водки. Радость его была так велика, что не утерпел и, не дождавшись кума, выпил две чашки.

День выдался знойный, парило, предвещая грозу. Расстегнув ворот новой кумачевой рубахи, потный и красный, Тарас сидел на крылечке, поглядывая на дорогу, и мечтал о том времени, когда Агафон вырастет в здорового красивого парня...

Подъехал кум с кумом.

— Агафоном назвали,— сказал Кузьма, усмехаясь.— Поп до чего пьян был, что и господи помилуй выговорить не мог... Ну, будьте здоровы... с новорожденным!

Тарас, окончательно захмелев, стоял над зыбкой и разговаривал с сыном, как с взрослым.

— Мы, брат, с тобой, Агафон, наворочаем делов! Мы теперь все можем... во-вот каких бревен нарежем в барском лесу! Избу выстроим... Мы с тобой, Агафон, заживем! Вдвоем дело пойдет веселей, и с косьбой, и с пахотой, и с уборкой. Вдвоем мы с тобой выкосим за утро не меньше десятины... Вдвоем нам и лесник не страшен...

Он так и уснул подле зыбки на полу, улыбаясь во сне.

...Тарас не ошибся в своих надеждах. В пять лет Агафон скакал верхом на лошади, в семь — переплыval Волгу, в девять уже косил наравне с отцом.

— Пятки отрежу, батя! — кричал он, задорно махая косой.

Темной осенней ночью они поехали в барскую рощу и свалили здоровенную сосну в полчаса. Поддев кольями бревно, они вкатили его на дороги. На выезде из леса их встретил лесник и схватил лошадь за уздечку.

— Но... но! — грозно сказал Агафон, играя топором, и лесник отпустил лошадь.

Весной Тарас с Агафоном срубили просторную избу — и по-

звали попа освятить ее. Поп Афанасий пропел дребезжающим голосом: «благослови, господи, дом сей и исполни земных его благ», окропил розовые, истекавшие смолой стены и начертил мелом кресты на притолоках, чтобы дьявол не мог проникнуть в жилище Тараса.

— Хороший у тебя сын вырос,— сказал он, пряча в карман три рубля.

— Да уж такой сын, что и не нарадуюсь,— признался Тарас.— Отчаянный. Башковитый паренек. Ему бы науку дать... грамоте обучить его...

— От науки один разврат,— строго сказал Афанасий — Пусть мужицкое дело ведет... А то книжки начнет читать и в тюрьму угодит.

Однако Тарас от мечты своей не отказался. Он написал в город свою книжку, работавшему в ресторане, и просил его взять Агафона к себе на выучку. Свояк согласился, обещал определить Агафона в школу, как только Тарас вышлет ему метрику о рождении.

Тарас отправился к попу. Поп Афанасий долго перелистывал толстую книгу о родившихся за 1892 год.

— Нет тут никакого Агафона,— сердито сказал он.— Когда родился?

— Рожь зачинали жать, батюшка... После Казанской вскорости... Кузьма кумом был... И назвали Агафоном. Поищи хорошенько, куда же он мог деться? — Тарас растерянно вытер рукой вспотевший лоб.

Поп третий раз перелистал книгу:

— Евдокия... Сафон... Протасий... Агаф... Агафья... Пуд... — бормотал он.— Стой... стой! Родители Тарас Бондарев и законная жена его Пелагея...

— Во-во,— облегченно воскликнул Тарас.— Я самый, Тарас Бондарев.

— Восприемниками при таинстве святого крещения были крестьянин той же деревни Кузьма Новоторов...

— Кузьма Васильич! Правильно! Кум Кузьма!

— Так тут не Агафон записан, а младенец женского пола Агафья.

— А-гафь-я-я?! — простонал Тарас, очумело уставившись в книгу.— Откуда ж девчонка взялась-то? Сын у меня... Агафон... Парнишке пятнадцать лет... Напутано тут...

— Выходит, я что ль напутал? — зарычал поп.— Я по-твоему мальца от девки отличить не могу? Сам ты мне голову дуришь. Выдумал какого-то Агафона!

— Сам же ты, как избу святил, видал, что сын у меня, а не дочка... Косит со мной... Сам ты его хвалил...

— По книгам Агафья, стало быть, не о чем и разговаривать... Поди сначала проспись! — крикнул поп и распахнул дверь.

Тарас шел домой, как в тумане, ничего не видя вокруг. Потом ему стало смешно от того, что у него какая-то Агафья. Он хохотал в одиночку, сам с собой, и встречные обходили его стороной, полагая, что он снятый. По дороге он забрел в кабак, выпив, рассказал, что поп из мальчишки сделал девку, и вместе со всеми смеялся до слез, но когда пришел домой, снова погрузился в мрачное раздумье и, наткнувшись на Агафона, ударил его наотмашь.

Это был первый удар, полученный Агафоном от отца, который всегда был с ним нежен и ласков.

— За что, батя? — спросил он, дрожа от обиды.

Тарас, не ответив, схватил его, сорвал штаны и, крепко держа за руку, потащил по деревне, выкрикивая:

— Братцы, подтвердите! Никакого обману!

Агафон вырвался и со слезами убежал в лес. Он пропадал два дня, а когда голод заставил его вернуться домой, ребяташики встретили его улюлюканьем и свистом.

— Агафья! Гапка! Агафья!

Агафон швырнулся в них камнем и расшиб голову одному из обидчиков. Так началась неравная борьба Агафона со всеми окружающими, борьба за право на жизнь.

Он сделался угрюмым, молчаливым, работы избегал, не выходил на улицу и проводил дни у окна, скованный мрачным оцепенением.

Однажды, буйный и свирепый от водки, Тарас выбежал на улицу и при народе грозил сжечь попа и выдергать ему длинные космы. Узнав об этом, поп Афанасий донес по начальству, и вскоре возникло дело по обвинению Тараса Бондарева «в преступной подмене младенца Агафьи неизвестным Агафоном, а также в богохульстве».

Тараса вызвали к благочинному.

— Какой же мне интерес девку менять на мальца? — спросил Тарас.

— За девку нужно приданое дать. Девка в хозяйстве не выгодна. Вот и обменял. Ох, уж эти мужики!

От благочинного дело перешло в консисторию. Агафона раздавали, осматривали, качали головами, но ни к какому выводу так и не пришли. Хозяйство Тараса пришло в упадок, он продал овец и свинью. Кто-то посоветовал ему обратиться к волостному писарю Кузьмичу.

Писарь, выслушав рассказ Тараса и выпив бутылку водки, принесенную им, приказал привести Агафона. Он долго раз-

глядывал Агафона помутневшими крысиными глазками и, выслав его из комнаты, сказал:

— Устрою в лучшем виде. Парнишка твой на татарина схож обличьем, скулы широкие, а глаза узкие. Чистый Ахметка! Они, татары, махометанской веры. Махомету поклоняются. Вот ты иди к попу Варсонофию, в городе он служит в Покровской церкви, отчаянный поп, он все может... Сестру с братом перевенчает. Только заплати... И скажи так: «приблудился, мол, ко мне татарин Ахметка махометанской веры! А я желаю его в православную обратить и усыновить, а имя ему дать Агафон...» Понял теперь мою диспозицию?

На другой день Тарас привязал корову к телеге и повел ее в город на рынок. Агафон шел сзади и подстегивал корову хворостиной. Продав корову за пятнадцать рублей, Тарас пошел к попу Покровской церкви Варсонофию, приказав Агафону молчать, а если что спросят, то креститься и твердить одно: «Махомет не надо... Агафон надо...»

Кумом за бутылку водки согласился быть какой-то пропойца, а кумой — за такую же цену слепая с паперти.

Варсонофий самолично выкатил из-под навеса сорокаведерную бочку, от которой воняло кислой капустой. Тарас и Агафон наполнили ее водой из колодца.

— Полезай, — сказал Варсонофий, и Агафон по шею погрузился в холодную воду.

На посипевшего дрожащего «Ахметку» поп нацепил медный крестик, выстриг ему на затылке клок волос, назвал рабом божиим Агафоном и выдал Тарасу метрическую справку за пятнадцать рублей.

— Ну, слава тебе господи! — весело сказал Тарас, выезжая из города. — Узаконили тебя, Агафон...

Приехав домой, Тарас с радости напился и, хвастаясь, рассказал все, как он обхитрил и попа Афанасия, и благочинного, и консисторию.

— Теперь Агафон в люди выйдет... Завтра повезу его к свояжу в город... в ресторан определю... Учись, Агафон! Мы, брат, с тобой всех обхитrim! Мужик сер, да никто его ум не съел...

А ребятишки бегали за Агафоном и, зажав в кулак подол рубахи, показывая «свиное ухо», кричали:

— Ахметка! Агафья! Ахметка!

Агафон запустил в них камнем и спрятался в хлев.

Тарас проснулся на заре, разбуженный тревожным ржанием мерина. Он побежал к хлеву, но ворота оказались запертыми изнутри. Тарас заглянул в щель — лошадь металась по хле-

ву, испуганно кося глазами, вся в мыле, а над ней медленно раскачивались длинные вытянувшиеся агафоновы ноги...

Когда Кузьма окончил рассказ, парнишка спросил:

— Дедушка, а какая она... консистория?

Кузьма недовольно взглянул на него, видимо, вопрос застал его врасплох.

— Консистория? — переспросил он, нахмурив брови. — Это, брат, при царе была такая... Страшное дело... Печать на всем ставила... Да пес с ней! — с тем же нарочитым озорством воскликнул дед и, ласково взглянув на внука, добавил добродушно: — Иди, иди, беспечальный...



ВЯЧ. ШИШКОВ

ОТЕЦ МАКАРИЙ

Декабрь. Я сижу на берегу Черного моря и прислушиваюсь к ритмическому гулу его волн. Где-то, вероятно, возле Новороссийска, вырвался из-за гор ярый освежающий норд-ост, кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом Сухуме,— лишь отзвук шторма. Но море все-таки тудит.

Здесь тепло, здесь и в декабре лето: всюду цветут розы, зоревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я: это не в море злятся волны, а гудят вершинами тайга, такая же безбрежная, такая же таинственная, как море.

Я гляжу вперед, к анатолийским берегам: вдали, култыхаясь меж валов, блуждает одинокая, в белых парусах, фелюга. А мне грезится, что это бродяга идет по таежным сугробам, какой-нибудь варнак, убивец, Ванька Конокрад.

Ветер ходит над тайгой, гнутся пихты, стонут сосны, и если взлететь на крыльях,— зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев, туда приходится ему, и он спешит к жилищу.

И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал его — не помню. Может быть, медведятник дядя Пров за кашей в зимовье, может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь варнак — со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний.

Ветер ходит над тайгой, гудят тайга, как море. Вихлястой снеговой тропинкой плется сутулый человек. Бороденка, длинные волосы, постное, со втянутыми щеками лицо, мона-

шеская скуфейка колпаком, за плечами котелок и торба. Одет человек в рвань, в тлен.

Морозный вечер. Холод сушит щеки, знобит глаза.

Бродяга вдруг заулыбался: близко протявкала собака, понесло жилем дымком.

Семейство старого Вавила садилось ужинать. Вошел странник, сдернул скуфейку и закрестился плохо гнувшейся, озевшей на холоде рукой.

— Проходящий, что ли? — сурово, по-лесному, спросил Вавила.

— Стра... странник я,— выдохнул пришелец намерзшие слова.— Так точно, милостивец... Странник.

Вавила заслонил глаза от света, крепко прищурился на пришедшего, сказал:

— Ночуй.

За ужином жаловался Вавила человеку:

— Так что совсем без попа, словно собаки. Два года как опился вином отец Семен, превечный покой его головушке! На моих памятях пятый поп спивается у нас. А теперь к нам в такую глушь ни один священник не пожелал пойти. Кругом лес, трущоба, до ближнего жилья больше сотни верст. Сами кой-как женим, кой-как крестим да хороним, гаже некуда: помахаешь кадилом да поорешь, что в башку взбредет,— ну и ладно. Все думаем: вот ужо новый поп объявится, все освятит, всю чертовщину нашу божественную, и похороны, и свадьбы. Какие мы, к лешевой бабушке, попы!.. Да... А я в церковных старостах хожу... Эх, стрель тя в пятку!.. Грехи!..

Блеклые глаза прохожего заострились шильцем. Поeroшил пятерней длинные лохмы, елейно, назидательно сказал:

— Что же, православные... Будем так говорить, к примеру: я, к примеру, божий иерей, хотя и плохонький, а поп. И, к примеру, изгнан быть на поселение по ошибке. Но, по благости божьей, коль скоро та судебная ошибка обнаружилась, аз, многогрешный, возвращаюсь домой, питаясь подаянием.

Восемь ложек дружно опустились, и все семейство старого Вавила уставилось изумленным взглядом бродяге в бородатый рот.

— Я, известное дело, не навязываюсь. А послужить мог бы в сане иерейском. Ежели понравится вам служба моя, оставите меня попом, ежели не понравится — дальше двинусь.

На другой день расторопный Вавила метелицей носился по селу.

— Мужики, на сход! Поп объявился! Батюшка...

Сход не долго думал: оглядел священника, обнюхал, постановил: «Взять на пробу».

Только поперечник — парень Тимоха — сказал с насмешливой ухмылкой:

— А пускай-ка взрывает многолетье погромчей, чтоб оглушительно!

Но Вавила сразу парня оборвал:

— Цыть! Засохни! Всяк щенок в собаки лезет... Дурошлеп!.. — И обратясь к священнику, спросил: — Дозвольте узнать, батюшка, как святое имечко ваше будет? Отец Макарий? Так-с. Очень даже подходяще.

Мужики сдернули с головы шапки и — под благословение. Священник залился краской, благословляющая длань его дрожала.

В воскресенье — проба. В церкви густо, духовито, как в квашне. Отец Макарий взывал к богу благолепно, со слезами, старухи плакали, бабы сморкались, мужики сопели, отирая пот. Многолетие батя дернул с треском — за всех православных христиан, за приютившее его село Сугробное, за всечестного старосту, благочестивого Вавилу Карнаухова. Староста Вавила за казенкой приятно улыбался, и белая борода его ползла по тугой синей поддевке, как снеговой выонок. Служба кончилась быстро, весело, не как у прежних попышек-пьяниц. Радостные прихожане под трезвон колоколов всей гурьбой повели отца духовного водворять на жительство в обширный церковный дом.

— А есть ли у тя матка-то, кормилец? — участливо спрашивали бабы.

— Увы! — И отец Макарий с великим сокрушением возвел очи к небесам.— Увы, дошел до меня слухов, попадья изменила мне, обретя взыхателя.

— Ах, ах, ах, — закрутили носами бабы.— Мысленное ли дело — попу без матки жить!

Село три дня на радостях предавалось пьянству и гульбе. Отец Макарий хотя и выпивал, но в меру.

— Мы тебе, батя, солдатку пока-что командируем, Анисью. Бабочка она молодая, чистоплотная. Мужа ейнова убили на войне. Бабочка подходящая, ничего.

Отец Макарий смиренным голосом сказал несмело:

— Собственно мне по сану надлежит в супруги целомудренницу брать...

— Каку таку целомудренницу? Девку, что ли? Навряд которая пожелает. Да у нас этих самых... как их?.. целомудренников-то, пожалуй, что нескоро и найдешь, — подмигивая друг другу, смеялись мужики.

Солдаточка Анисья повела поповское хозяйство превосходно. Мужики вразумляли ее:

— Смотри, не подгадь, Анисьушка! Ублажай попа всячески... Золотой нам достался священник! Прямо — клад.

И потекла попова жизнь в довольстве, в холе.

Так прокатился длинный год, опять легла зима. Отец Макарий отрастил изрядное брюшко, стал осанист корпусом и взглядом. У Анисы Иннокентьевны от сладкой, сытной пищи тоже округлилось чрево, и бог даровал ей дочь. Крестьяне отнеслись к ней с полным уважением, начали без ухмылки величать Анисью «матушкой».

Священник проводил дни в больших трудах, достатки его незримо множились.

Как-то матушка расхвасталась бабам про попа:

— Оншибко набожный, он даже чудо может сделать. Чирай у меня, родные мои, повыше коленки был: поп благословил, дунул, плонул — и прошло.

Бабы сразу же поверили, и отец Макарий, действительно, с тех пор начал помаленьку чудеса творить: у кого живот дуновением излечит, у кого зуб заговорит, лихоманку снимет, из трех же кликуш, трех толстобоких теток: Дарьи, Мары да Лукеры, что в церкви кукарекали, великими молитвами изгнал дьявольских нечистиков.

И все больше укреплялась вера в отца Макария, все туже становился кошелек его, а матушка, осиянная славой своего владыки, вновь принялась усиленно полнеть. Валом валило счастье отцу Макарию. Но враг рода человеческого, как известно, никогда не дремлет, он рыщет на земле, «иожий, кого поглотит» вместе с сапогами.

И вот на рождество, после обедни, когда праздничный народ разошелся по домам, последним вышел из храма и отец Макарий. Когда, постукивая посохом, священник величественно пересекал сумеречную паперть, вдруг словно громом:

— Стой!..

Священник вздрогнул и остановился. От мрачной, сырой стены отделились огненного цвета борода, широкие плечи, два жаждных, с волчьим блеском, глаза, и все это вплотную придинулось к священнику. Отец Макарий обмер, словно мертвеца увидел пред собой.

— А, батя! Здравствуй, с праздничком...

Отец Макарий отпрянул и затрясся так, что дрожал весь пол и паперть от его дыхания гудела.

Был предрассветный час. В мглистом небе звезда стояла. Проснувшийся на березе ворон каркнул, взмахнул крылом, и, как лебяжий пух, посыпался с ветвей куржак.

Рыжий верзила, страшный, оборванный, сутулый, емко ша-

гал рядом со священником, поскрипывая снегом. Фигура отца Макария стала жалкой, пришибленной.

Оба заперлись в комнату. О чём там говорили — неизвестно. Анисья Иннокентьевна слышала лишь сиплый озлобленный кашель бродяги.

Три дня, три ночи прожил верзила в доме священника. Он сидел под замком, в каморке, жрал водку, орал песни, скверно ругался. Отец Макарий был мрачен, удручен.

В третьей ночи, когда Анисья Иннокентьевна крепко почивала, отец Макарий звякал ключами, вынимал из сундука накопленные деньги, долго считал их, пересчитывал. Утром верзила скрылся.

— Кто это был? — спросила Анисья Иннокентьевна.

— А это... это брат наш во Христе... Нищий, к примеру.

Отец Макарий повеселел, но не надолго: ровно через две недели верзила ночью постучал в окно.

— Не рад гостю? — прохрипел он, обнажая широкие гнилые зубы.

— Нет, отчего же... рад, — по-эзому сказал священник, и желчь заклубилась в нем.

И опять шептались тайно. Жил верзила целую неделю, теперь уже на свободе, в светлой комнате. Священник же свою супругой спальню крепко запирал и в головы клал остро отточенный топор.

За эту неделю священник пожелтел, как тыква в сентябре.

Впрочем, и на этот раз все обошлось мирно: бродяга ушел. Отец Макарий отдал бродяге последние деньги, часы, серебряные ложки, шубу, самовар. Верзила скалил свои лошадиные зубы, что-то бормотал, плевался и, кривоплече сгорбясь, вышел вон. Сказывали потом, как он нанял лошаденку и уехал.

А время подвигалось. Подули теплые ветры. Тайга шумела по-особому, шелковым шелестящим шумом. Зима снимала с земли горностаевый полысевший мех. И вот журчат ручьи, чернеют пашни, тайга оглашается весенным ревом сохатого, дробным стуком дятла, посвистом печальной иволги.

На страстной, в четверг, после стояния, в поповский дом вновь приложил бродяга. Лицо его горело пьяным огнем, нос разбит, глаза разбойничьи. Как разбойник вломился он в дверь, крикнул: «Деньги, сволочь!» и, бросившись на отца Макария, стал его душить. Анисья Иннокентьевна с визгом — на улицу к соседям.

Священник отшвырнул пьяницу, схватился за топор. В руке верзилы сверкнул длинный нож. Вооруженные враги яростно стояли лицом к лицу, как змеи на хвостах. Крутя ножом и наступая, верзила скрежетал:

— Убью!.. Деньги!..

— Нету денег, кровопивец!.. Все отдал тебе, мучитель мой!.. Верзила с рычаньем прыгнул на врага. Священник увернулся. Нож разбойника с размаху вонзился в стол. Миг — и злодей опрокинулся плашмя на пол; его глотку намертво стиснули костиистые поповы пальцы, бродяга закатил выпученные стеклянные глаза и захрипел.

Вдруг:

— Вставай, злодей! Идут!..

За окном густые, угрожающие голоса, топот в сенцах, ввалился вместе с Анисьею Иннокентьевной народ. Верзила и священник, шумно дыша и стуча зубами, мирно сидели за столом. Верзила зажал в горсть свою раненую руку: по штанам, по сапогу бежала кровь.

— Вяжи его, варнака! — заорал старик Вавила, потрясая ременными вожжами.— Айда в каталагу!

Народ двинулся к столу. Но отец Макарий, бледный, желтый, еле переводя дух, сказал:

— Остановитесь, православные... Это так... Это он выпивши, мало-мало пошумел. Он мой гость... Христос велел принимать странников... Идите с миром по домам...

Крестьяне удивленно, открыв рты, мигали, и у всех радостная мысль: «Ну и батя наш!.. святой!» Однако раздались сверкающие гневом голоса:

— В случае чего дай нам весточку. В землю втопчем варнака!

Народ ушел. Священник с ненавистью взглянул на верзилу:

— Слыкал? Пока цел, убирайся вон!

Верзила встал, подошел вплотную к быстро поднявшемуся священнику, покачался, попыхтел, густо плонул в попову бороду и, ругаясь, вышел.

Священник теперь по ночам не спал. Он часто выходил с топором во тьму, дозорил сеновал, амбары: боялся, что варнак пустит красного петуха и все предаст огню. Не раз открыл сундук, оглядывал опустошенный кошелек и, перхая, плакал...

Пасхальную заутреню совершил поп благолепно и по-своему: прихожане сроду не видали такой службы. Все исцеленные старухи, бабы Марья, Дарья и Лукерья и с ними дедка Нил — молились впереди. Лица их сияли. Сиял галунами и прибывший из волости урядник. В маленькой церкви духота.

Весь в огненных парах отец Макарий третий раз поднялся на амвон с курящимся кадилом.

А верзила меж тем невидимкой карабкался с улицы в алтарь, через окно, открытое для воздуха.

— Христос воскрес! — торжествующе возопил священник, кадя и осеняя всех крестом.

— Воистину воскрес, Ванька Конокрад!

Как из-под земли вырос, развернулся, ударил верзила попа в висок. Поп повалился на пол.

— Дурачье! — хрюпал верзила, жег взглядом ошалевшую толпу.— Какой это Макар! Это Ванька каторжник, со мной на Соколином острову сидел, варнак, убиец!..

Народ оцепенел, каждый думал — это сон. Вдруг, опомнившись, с гвалтом хлынули вперед, смыли кричавшего урядника, настигли обнаглевшего верзилу и тут же растерзали. Умирая, он шептал:

— За правду погибаю... А поп ваш два семейства в Рассее вырезал...

Отец Макарий, он же Ванька Конокрад, в свалке скрылся. Крест и кадило валялись на полу. В исцеленных старух и баб снова мгновенно вселился бес: катались клубком, выли, лаяли, кукарекали, у двух теток живот схватило, у деда сразу пересекло в поясах.

Ванька Конокрад пропал бесследно. Анисья Иннокентьевна горько плакала: из почтенной «матушки» она снова превратилась в несчастную вдову. Православные проклинали прощелыгу, искали убить его, но не нашли.

Спустя месяц староста Вавила ездил в город. Там составили бумагу и отправили в синод, в Питер. В бумаге говорилось, что беглый каторжник, под видом священника Макария, свадьбы правил, грехи отпускал, хоронил, крестил,— да как же, освящено все это или проклято?

Из синода пришел ответ: «Освящено — по вере вашей».

Мужики на радостях устроили всем селом русскую широкую гульбу.

А растерзанный верзила (уряднику взятку дали) был тайно погребен в кедровнике. На его могиле белел среди сугробов крест. Старый солдат с березовой ногой сделал на кресте надпись. Солдат очень старался, пыхтел, сопел, кряхтел. Надпись гласила:

«Святы боже святы крепки святы бес-
смертии си новопресталенный неизвестный проходящи
за веру царя и отечество живот свой положивши а паршивый
Макарка приблудный поп будь он трижды анафема проклят!
Амины!»

П. ЗАМОЙСКИЙ

ТРЕПЕТЬ¹

В развалившейся избе нашей холодно и мрачно. Пятилинейная лампа горит тускло. Стекло на ней с одной стороны густо покрыто копотью, а с другой залеплено кусочком желтой бумаги.

Мать сидит на подмарье, оперлась ногой на ребро лохани и прядет кудель. И удивительно, как ей видно там, в темноте, сучить тонкую нитку. Но веретено тихо жужжит, и мать все прядет и прядет и сосредоточенно о чем-то думает.

О чём она думает? Или о том, где бы занять еще муки, а может быть, о том, у кого ночует сейчас наш старший брат, который вот уже две недели как ушел побираться в соседние села. Мало ли дум многодетной матери с таким несุразным и беззаботным мужем, как наш отец.

Потому-то и смотрит она сейчас на отца искоса и с ненавистью. Они только-что поругались. Да, в нищете нашей виноват отец. Это всем нам известно. Отец больше Знается с библией, четью-минеями², псалтырем, чем со своим хозяйством. А хозяйство и без того-то было плохо, теперь же совсем развалилось.

Отец сидит за столом и, как назло матери, все читает. Читает он апокалипсис³. Слушают его пять старух. Из них две наши соседки, а три пришли с других улиц. Все богомольны не меньше, чем наш отец.

Два моих старших брата топят голландку, из которой дым

идет не столько в трубу, сколько, выбиваясь из трещин и дыр, валит в избу. Топить голландку для нашей избы — дело совершенно бесполезное. Даже над ней и рядом, около двери, виден желтый от копоти иней.

А я, поджав ноги, сижу на лавке возле печки, в полу-темноте.

Мне девять лет, но я уже великий грешник. Я такой грешник, что меня от одной только мысли о грехе моем трясет лихорадка. Что мой грех не простится ни на том, ни на этом свете — это мне хорошо известно. После смерти неминуемо придется гореть мне в огне ада. И гореть веки-вечные. А огонь там не то, что в лампе нашей, или даже в печке, когда топят ее под хлебы,— нет, огонь в аду синий и жгучее нашего в семьдесят семь раз.

Да, на мне грех непрощенный. Я согрешил — страшно подумать! — против святого духа. Я «вознес хулу на святого духа». Сказать по совести, я не хотел этого и даже никогда бы не догадался так согрешить, но когда отец позавчера объяснял старухам, что хула на святой дух, будь она вольная или небольная, никогда — ни на том, ни на этом свете — не простится, в это самое время, я и не помню, совершенно не отдаю себе отчета, как это случилось, мысленно, а все-таки я сказал:

— А святой дух — дурак.

Только после я это осознал. И волосы зашевелились на моей пропащей голове. Что я наделал? Как не устоял против соблазна? Почему не удержал меня от этого добрый ангел?

И тогда со злобы — гореть, так все равно уж! — я осторожнело принял шептать:

— Да, святой дух — дурак, дурак, дурак.

Я даже, кажется, и по-матерному выругался, но тоже, конечно, шопотом.

Словом, вспоминать тошно, что было позавчера. И эти два дня я ходил сам не свой. А теперь вот забрался в угол и слушаю монотонное чтение отца. Сам же то и дело мысленно представляю себя в аду. Каково? Я, поддернутый железным крючком за язык, вечно-вечно буду гореть, и моим мучениям не будет конца. Да, конца не будет. Никогда! Только представить: никогда не будет конца. Эх, на что бы я только не решился сейчас... Конечно, первым делом, даже не дожидаясь великого поста, пошел бы к попу и раскаялся ему во всем. Но... зачем? Я бы и в монастырь ушел. В отшельники. Но ведь... Словом, нечего попусту и думать. Все, что бы я ни сделал, напрасно. Для чего я только родился? Может быть, мне повеситься? — Боязно. Может, горло ножом перережь

¹ Печатается с небольшим пропуском.

² Четы-минеи — «душеспасительное» чтение на каждый день по месяцам.

³ Апокалипсис — одна из основных священных книг православной церкви.

зать? — Кровь пойдет. Нет, я лучше постараюсь жить долго-долго, чтобы умереть стариком. На тот свет надеяться мне уже нечего. В рай я все равно не попаду. Куда там... Только одно пугает: вдруг доживу до светопреставления?

Мне не хочется встречать второе пришествие Христа. Оно страшное. Щутки ли видеть, как на твоих глазах будет свертываться небо, словно какая-нибудь холстина, а потом пойдут по небу огненные столбы и в середине распластанется кровавый крест...

А отец все читает. Ему и дела нет до меня. Склонил свою лысую голову и тянет гнусавым голосом:

«И когда он снял шестую печать, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю.

И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные и вельможи, и богатый, и всякий раб, и свободный скрылись в пещеры.

И говорят горам и камням:

— Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять».

Я не первый раз слышу апокалипсис. Я почти знаю его наизусть. Вот дальше, например, пойдет о семи ангелах с трубами. Они очень жестокие, эти ангелы. Да, да, так я их и называю. А чего мне теперь бояться? Они злые. Они злее всякой собаки. Даже Полкан, который караулит поповский двор и бегает на цепи.

Отец читает про ангелов. Он очень любит про них читать:

«Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела.

Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды Половы; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Старухи сдержанно вздыхают и глаз не сводят с отца. Видимо, они считают его действительно «праведником», как о нем однажды говорил наш поп в церкви. От холода или от волнения, но лицо у отца покрылось бледными пятнами, на лысине и на лбу выступили крупные капли и, кажется, застыли.

А в трубе, вот рядом со мной, гудит ветер. Заунывно гудит, и тоска сжимает мое сердце. Да полно, ветер ли это воет? Он то таинственно замрет, то заревет и забьется. А может быть, это уже злые ангелы трубят?

И опять я начинаю думать о себе, о грехе моем, о муках адских и мысленно прохожу все мытарства, которые проходила Феодора-великомученица. И я завидую ей. У нее не было такого греха, как у меня.

«И видел я и слышал,— продолжает отец,— одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом:

«Горе, горе, горе живущим на земле! Горе им от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!»

Я не хочу больше слушать, о чем еще будут трубить остальные ангелы. Меня берет злоба.

«Зачем еще трубить? — думаю я,— разве мало эти натрубили? Гляди — что осталось от земли? — Она смешана с градом, огнем и кровью. Где травы и деревья? Третья часть их выгорела. А море? Что стало с ним? Оно тоже стало кровавое, и в нем погибла третья часть рыб и третья часть судов...»

Нет, довольно натрубили. Хватит. А третий даже и воду отравил.

«Боже милостивый,— злобно хочется мне крикнуть в передний угол,— что же ты делаешь? Зачем же ты людей сотворил? Ужель затем, чтобы ко второму пришествию своему избить их камнями, спалить огнем, затопить водой?..»

От темного, дымом прокопченного лика бога я перевожу взгляд на своих братишек. Они сидят возле голландки, подкладывают в нее солому и при мерцающем свете пересчитывают бабки. Сегодня они, кажется, много выиграли в свинчатку. Им, конечно, нет никакого дела, что там натрубят семь ангелов. Ни читать, ни слушать они не любят. Нет у них такой охоты. И как я жалею, что не похож на них. И зачем я уродился в отца своего — книжника? Видно, весь свой век буду несчастным. На земле несчастным и совсем уже пропавшим на том свете. А мне бы очень хотелось быть таким, как брат Захар... И как смело он рассуждает о своих грехах:

— Эка невидаль! Нагрянет великий пост, пойду к попу, и он мне за три копейки всем грехам «прощу» даст.

А я? Я ни разу и не ругался. И вдруг вот произошло. Да еще что произошло-то!

«Бо-оже всемогущий, зачем же ты допустил меня до этого? Ангел-хранитель, сонуля ты этакая, кислятина, что не указаулил? Видно, ты тоже похож на нашего никудышного отца. Видно ты отдался от меня легко и в книге добрых и злых дел моих проставил один, но несокрушимый грех: «хула на

святого духа». Плохого ко мне ангела приставили. Как будто хуже-то и не нашлось у них на всем небе...»

Гляжу на мать. Она, кажется, задремала и то и дело клонится головой к гребню.

«В те дни,— торжественно читает отец,— люди будут искать смерть, но не найдут ее: пожелают умереть, но смерть убежит от них».

Две старухи низко склонились над столом, вздыхают и тихо плачут, не отирая слез. Плакать хочется и мне. Слезами плакать, но слезы не идут, не навертываются на глаза. Только чувствую, как горит мое лицо, уши — и весь я горю на сухом, медленно изъедающем меня огне.

«...и вот вышел большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем; хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю...»

Я испуганно-быстро подбегаю к окну и сквозь мерзлые стекла стараюсь рассмотреть,— остались ли на небе звезды. Но окно покрыто мохнатым узорчатым ковром снега, и сквозь него совершенно ничего не видно. Только мышь зябко царается между стеклом и приваленной к окну соломой.

Глубже забиваюсь, опять в темный угол, и теснее вжимаю голову в плечи. Сердце мое трепещет и бьется так сильно, будто готовится выскочить, а временами сладко замирает, и тогда в глазах у меня бегают мутные, желтые круги.

Соседка Фекла, наслушавшись вдосталь всех ужасов, не выдержала и, всхлипнув, торопливо направилась к двери. А отец, как нарочно, высоко поднял палец и крикнул ей вслед:

— Се гряду, как тать в нощи!

Испуганно перекрестившись, Фекла толкнула плечом приоткрытую дверь и опрометью выбежала в сени. Отец разошелся во-всю. Он вдохновился. Разогнул спину, привстал, пошел с евангелием к худому пузирю лампы и страшным голосом заурчал:

«...и от престола раздался громкий голос:

— Сoverшилось!

И произошли молния и громы, и сделалось великое землетрясение: и всякий остров убежал, и огненный град пал на людей...»

В руках у него дрожит потрепанное евангелие, свет испуганно мигает в лампе и вот-вот готов погаснуть, а старухи, не вытирая наплаканных глаз, уставились на отца. Грозная тень от него легла на стену.

В каком-то приступе безумия он уже не читал, а вещал:
«Я есмь Альфа и Омега... И Начало и Конец...»

И так отчаянно крикнул: «Эй, гряду», что вздрогнул не только я, но и старухи, и мать моя, и братья. Вздрогнул и огонь в лампе. Потянулся и угас. И в этот же миг с треском распахнулась дверь, в дверях раздался визгливый, жуткий голос Феклы:

— Столбы огненные по небу! Крест появился!!

Как щипцами сжало мое, и без того надорванное испугом, сердце, к горлу подвалил тугой ком, все тело облило леденящей водой, и я, чувствуя тошноту, полетел в темную пропасть.

...Очнулся уже утром. Лежал на подмарье. Возле, с пузырьком в руках, стоял учитель. Слышу его басистый голос:

— Надо же было довести мальчишку до обморока! Так искалечить его недолго.

Мать, видимо, не первый раз уже рассказывает:

— Выбежала, говорю, в сени, кричу: «Где же, паралик вас хвати, столбы вы увидали?» «А вон, вон», — указывают на крышу. А в крыше у нас дыра и сквозь ее видно, будто и вправду какие-то белые столбы на небе. Я возьми да и выбежи к самой мазанке. И пес их дери: а это у месяца уши от мороза поднялись. Какой ведь был мороз-то! Ну, два уха по бокам, а один прямо по самой середке. Из дыры-то им, дуракам, и видать, вроде как два столба.

— Бестолочь! — басит учитель. — А твой муж — олух царя небесного. Чем парню вдалбливать в голову чорт знает что, лучше бы он дыру в крыше заделал.

Болел я после этого долго. Часто вскакивал по ночам и кричал. Лечили меня всячески: хиной зачем-то поили, ворожею с камушка умывать приглашали, даже в бочку с горячей соленой водой сажали.

С тех пор, бывало, как только отец вечером усядется за стол и начнет читать евангелие, мать подойдет к лампе и, обругав отца «фарисеем», потушит огонь.

— Будет тебе, лысому дураку, керосин-то палить на разных там антихристов.

И отец уходил читать евангелие к соседям.





ВИКТОР ФИНК

ГИБЕЛЬ МИРА

Отрывок

Монастырь стоял покинутый и забытый. Богомольцы показывались редко. Но в ту осень прозвучала, как набат,озванная из монастыря грозная весть. Какой-то монах Иннокентий предсказывал близкую кончину мира.

Слава побежала по молдавским деревням и селам. Она врывалась во все лачуги, где ютилась нищета. Она поражала умы. Чудесная и грозная музыка слышалась нищете в огненных речах монаха о гибели этого страшного и злого мира.

В монастыре ежедневно происходили «чудеса». «Калеки» подходили к Иннокентию на костылях, он окроплял их водой, и калеки бросали кости и уходили. Прозревали «слепые», глухим возвращался слух. Толпа, потрясенная и онемелая, впадала в неистовство, люди бились в истерических припадках, кликуши и бесноватые оглашали монастырский двор криками и воплями.

Обездоленные и униженные люди стали заполнять монастырскую церковь. Эти люди трудились всю жизнь, и всю жизнь их обманывали, обирали и обкрадывали... Иссеченное плетьми, напуганное, голодное и темное молдаванское крестьянство боялось земных надежд, не верило им.

Поэтому грозные проповеди монаха люди слушали с тревогой и радостью: он громил зло мира, в котором они страдали, он предсказывал ему гибель. К тому же, они впервые понимали слово, обращенное к богу, ибо Иннокентий был молдаванин и дерзнул говорить в церкви на запретном молдаванском языке.

В Балту стало стекаться столько народу, что и Николаевская улица, и переулки, и вся Турецкая сторона скоро оказались совершенно запруженны.

Люди прибывали из далеких мест Приднестровья и Бесса-

рабии. Домики еврейской нищеты были переполнены постояльцами. Больше нехватало мест под крышами, и люди располагались под открытым небом. Все видимое пространство по ту сторону монастырских и шляхетских садов — убранные поля, баштаны, выгоны, овраги и косогоры,— все наполнилось странной и томительной жизнью. Тысячи людей раскидывали табор здесь и жили так изо дня в день. Здесь они болели, рожали и умирали. Многие прибывали в Балту с одной лишь котомкой за плечами. Эти успели дома распродать все свое добро: домашний скарб, скотину и даже земельные наделы. В Балте они благовейно клали вырученные деньги в монастырские кружки и оставались нищими. Другие привозили натурой. Скрипя, растворялись ворота, и монастырь поглощал коров, стада овец, тюки домотканых полотен, вышитых полотенец и ковров, и возы, на которых добро было привезено, и коней или волов, которые в эти возы были запряжены. Глядя по обилию даров, одним жертвователям разрешалось оставаться в монастырских кельях, другим — во дворе, третьих выпроваживали за ограду. Бедных, но усердных или вконец обобранных снаряжали в путь за милостыней. Собранные даяния монастырь отбирал и благословлял на новый путь. По дорогам Приднестровья и Бессарабии бродили сотни таких обобранных в монастыре молдаван. Испуганными голосами повторяли они весть, шедшую из монастыря.

Но следом за нищетой потянулись и люди побогаче.

Из Приднестровья, из Бессарабии прибывали крепкие молдаване с большими дарами. Таких допускали в покой к «самому». Жертвователей богатых и сметливых Иннокентий назначал своими уполномоченными на местах. Уполномоченные назывались святыми братьями, апостолами и пророками.

Жертвователь Софрон Бастаника знал Иннокентия, еще когда тот был Ванькой Левзоровым.

— Бей меня, Иван Васильевич, — крикнул он и бухнул перед «святым» на колени. — Бей меня, окаянного. Виноват я перед тобой. Удар! Ударь меня.

Иннокентий взглянул на тощего черноволосого мужика и сразу узнал: бывший хозяин!

Держал когда-то Бастаника работником молдаванского парня Ваньку Левзорова из села Косоуцы, Оргеевского уезда. За дебоширство и пьянство Ваньку в деревне прозвали «дракули», что по-молдавски значит «чорт». Частенько приходилось Софрону тыкать батрака в зубы хозяйственным кулаком: за лень, за пьянство, за воровство, за порчу девок на селе. Ванька никогда не обижался и не унывал: побьет его хозяин днем, а вечером опять слышна его гармошка, и опять он водит хороводы.

Но однажды Иван завел шашни с Соломонией, хозяйской племянницей, жившей у Бастаники за дочь.

Без двух зубов ушел тогда Иван, с подбитым глазом, весь в синяках: хозяин дрался поленом.

Ушел и затаил злобу: думал, оглянется господь, удастся хозяина поджечь.

Но неизвестна судьба человеческая. Не думали ни Ванька, ни Соломония, ни Софрон, что с этой именно минуты завьется для Ваньки новая великолепная жизнь.

Ванька устроился на работу в добрушский монастырь. Легкая была в те годы жизнь в монастырях. Хоть и состоял парень всего лишь в пастухах, но святость в глазах имел и ходил чинно. А в монастыри на тихость, на святость сколько стекалось народу — мужиков, которых только умей ухватить, женщин, девушек! Никогда не покинул бы Иван добрушского монастыря, если бы не случай. Пошел он как-то в соседний кошелевский женский монастырь. Пошел так себе, как в малинник, к монашкам. И неожиданно повстречал здесь Соломонию. Девушку затравили дома за грех, и она ушла в монастырь. Жила она там в грусти и слезах, не имея вестей от своего дружка, и вдруг увидела его у монастырских ворот. Встреча вышла трогательная и бурная. Нечего было влюбленным дальше оставаться в монастырях, и они уехали в Одессу. Иван вертел шарманку. Зеленый попугай окаменелым клювом вытаскивал из ящика билетики с предсказанием судьбы, а Соломония приятным низким голосом пела «Дойну», старую песню бессарабских пастухов...

Соломония подбирала медяки, и жилось им с Иваном хоть небогато, но спокойно.

Но Ивана влекла прежняя нетрудная монастырская жизнь. Он бросил Соломонию и пошел по монастырям. Побывал он указным послушником и в Киевской лавре, и в Ярославском монастыре, и в Александро-Невской лавре, и в Почаеве на Волыни. Это был уже не прежний простоватый бездельник. Братец Иоанн внимательно ко всему присматривался и приглядывался. В Почаевской лавре он слушал исступленные проповеди неистового монаха Илиодора о «гадах безбожных», об «адове вепре, революцией именуемом». Монах был могущественен. Полиция помогала ему. Братец Иоанн долго смотрел на него, слушал, прикидывал в уме и, наконец, смекнул, в чем дело.

Он вернулся в родные места, обосновался в малоизвестном Балтском мужском монастыре, постригся в монахи с именем Иннокентия, принялся за работу и очень скоро пошел в гору.

Просыпал о нем бывший хозяин. Кто б подумал? Был «дракули» и вдруг — святым, люди вокруг него наживаются!

— Бей меня, Иван Васильевич! Бей меня, окаянного! Не понял я! Виноват!

Бастаника валялся в ногах и вставать не хотел. Говорить ему пришлось с Соломонией.

Когда Иван Левзоров обосновался в Балте и по Молдавии прошла весть о нем, к нему неожиданно явилась и Соломония. Она была уже замужем, имела детей, но бросила все и вошла в дом к Иннокентию, как хозяйка. Очень ее смущало обилие молодых женщин, вертевшихся вокруг святого. Произошла у нее даже бурная ссора из-за этого с Иннокентием. Но Соломония смекнула, что ей остается либо уйти, либо закрыть глаза на все. Она была достаточно умна и решила взять свое на барышах.

Переговоры с деловыми людьми обычно вела она, не допуская к ним других женщин. Холодно, немного свысока, но деловито приняла она и Бастанику.

— Значит, дядя, так, — говорила она. — Об этом вы не просите, чтоб они вам дали по морде. Когда им потребуется, они сами вам дадут. Они вам, может, разок-другой по зубам опосля дадут. Это когда они из себя дьявола прогонять будут, чтоб он не мешал им с вами о деле говорить и благословить вас пастырской рукой.

Иннокентий с интересом слушал ее разглагольствования, а Софрон пыхтел и потел.

— Виноват я! — повторял он. — Не сразу господа узнал. Виноват я! Бейте меня окаянного.

— Опосля! — деловито перебила его Соломония. — А сейчас дело слыхайте, дядя! Можем мы вас за апостола сделать. Чтоб, значит, были вы на селе за апостола. Или за равноапостольного. Ваше тогда занятие: рассказывать людям про чудо, про исцеление, про то, как они бесов изгоняют, одним словом, все чисто, как полагается апостолу. Вы будете давать разрешение на колодцы, чтоб без божьей воли колодцев люди не копали, а которые колодцы по божьей воле, те будут богоявленные. И все чисто, как полагается апостолу. Учить вас, дядя, не надо, вы сами ученыe. И чтоб народ знал, что Иннокентий, пастырь наш богохувновенный, голубя проглотил и предвещает конец света. Значит, так оно и будет. И нехай люди каются, табаку нехай не курят и копают колодцы. Это вы все говорите, как полагается апостолу, и господь вас не оставит. А нам отдадите половину. Яко сказано: радуйся, рот, из которого течет масло для помазания.

Бастаника стал усердствовать.

— Вот стоит смоковница распустившаяся, и от нее видна весна. Вот стоит гнев божий, и от него видна гибель, — тихо

и с сокрушенным видом внушал он односельчанам. — И самое главное — высохнет вода в колодцах, морях, озерах и реках, и погибнут грешники сухой смертью.

Не было деревни в Приднестровье и Бессарабии, где, топча свои тощие посевы, молдаванская нищая темнота не рыла бы по десять и двадцать колодцев на полудесятине земли: так велел Иннокентий.

Добывание богоявленной воды требовало соблюдения многочисленных и строгих правил. За камнем для колодцев надо было ездить за шестьдесят верст от дома, ехать с непокрытой головой, без кнута, ничего не есть самому, коням корма не давать, всю дорогу молчать. Когда при рытье добирались до влаги, работы надо было приостановить на три дня: надо было дать возможность всем чающим чуда бросать в кружку у колодца деньги от щедрот своих. У колодца денно и нощно дежурил доверенный человек Иннокентия. Первым и совершенно очевидным чудом бывало исчезновение денег.

На дне колодца проступал тогда лик божьей матери. Горе тем, кому не удавалось его разглядеть — им пречистая не хочет показаться. Они не спасутся и не попадут в рай, когда погибнет мир. Жертвовать надо щедро.

У колодцев беспрерывно служили молебны, кадили ладаном. К колодцам стекались вдовы и сироты, обиженные и немощные, больные падучей и безногие. Они чаяли чуда, молились, плакали, бились в судорогах и бросали в кружки медяки.

— Я такую думку имею, — сказал однажды Бастаника Иннокентию, приехав отчитываться в доходах, — я такую думку имею, что как конец света подходит, то должны люди все с себя отдавать на бога. Яко сказано: радуйся, кто сбросил одежду свою, как Илья на Елисея.

Монах валялся на диване. Предложение Бастаники заставило его вскочить. Бывший хозяин дело говорил — сразу видать умного мужика. Худющий, косматый, гнилым духом воняет, а ведь голова!

— Правильно! — громко крикнул Иннокентий, восхищенный идеей Софрана. — Правильно! Кайтесь, дышащие бурей греха. Исполнилась чаша и прольется гневом и огнем на головы стяжателей. Кайтесь, яко близок час! Богу отдавайте имение ваше.

Он рычал уже патетически, но вскоре, опомнившись, сел и, переменив тон, прибавил:

— Правильно, Софрон! Учить я тебя не буду, ты сам учений. Я есть бог, ты — апостол. Радуйся, яко и Моисею был дан жезл.

Доверенный человек Бастаники бойко скупал добро у селян. Корова шла за два рубля. Телега за сорок копеек.

Димитрий Брагуца свою кобылу погнал бы прямо в Балту, — сдать ее в монастырь. Но кобыла три дня тому назад ожеребилась, далекий путь был ей не под силу. Димитрий вывел ее продавать.

Его сынишка Сенька, рябой мальчуган лет одиннадцати-две-надцати, стоял рядом с отцом заплаканный. Он не мог понять, почему отец продаёт лошонка.

Покупатель рассмеялся, когда Брагуца потребовал за кобылу пятнадцать рублей. Он подобострастно хихикал и поглядывал на Бастанику, который как бы случайно присутствовал при торгах.

— Бычья голова, — сказал Бастаника. — Кто ж теперь за кобылу больше рубля даст? Посмотрите на него, добрые люди! Скоро конец света, весь свет скоро кончится и погибнет, а он тут с сухой кобылой путается!.. Бери, сколько дают, и скажи хорошему человеку спасибо за его ласку.

— Бери рубль! — буркнул покупатель.

С Бастаникой был его сынишка Коська, угрюмый балбес лет пятнадцати, прозванный деревенскими мальчуганами Коська Гнилой Комар. Он грубо оттащил лошонка от брюха матери и, сильно зажав ему ноздри, стал смотреть лошонку в зубы, как заправский лошадник.

— Не тронь! — закричал Сенька. — Лошонок мой.

Но Коська только посмотрел на него с презрением и по-хозяйски удариł лошонка в живот.

— Ну, берешь рубль? — переспросил Димитрия покупатель.

— Десять дай, — сказал Димитрий. Но сказал он это глухим и безнадежным голосом. Понимал уже и покупатель, и Бастаника, и Коська, и даже сам Димитрий Брагуца понимал, что торг, собственно, кончен, что сопротивляться нет сил и кобылу можно уводить.

— Бери, Димитрий, рубль и господь на тебя оглянется, — примиряюще сказал Бастаника и сам деловито посмотрел кобыле раньше в зубы, а потом на ноги.

— Мокрец был у ней? Не было? Ладно, бери рубль...

До вечера безутешно плакал рябой Сенька. Ему было жалко лошонка. Смеясь, увел его Гнилой Комар. Теперь будет он над ним хозяиничать, бить его. А лошонок его — сенькин. Он его долго ждал, считал дни до его рождения.

Сенька плакал, забившись в угол. А утром семья захватила немного мамалыги в тряпичке и в последний раз оглядела убогие стены своей лачуги. Мать Сеньки Гликерия перекрестилась на четыре стороны, и семья ушла в Балту, — ожидать под монастырскими воротами кончины мира...

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

ПЕТУШИХИНСКИЙ ПРОЛОМ

Отрывок

...Годы шли мерно и строго, как слепые старики на богомолье. И случилась вдруг часовенка негаданно, а потом монастырек как-то ненароком, — в нем и поныне тридцать монашков черными локтями да лбами мужицки-крепкими в медную рая дверь стучат. Достучался ли хоть один, кто знает? Да и стоило ль стучать по-настоящему: от добра добра не ищут! А игумен здесь податливый, именем Мельхиседек.

Был Мельхиседек допрежь того купцом, запоец и похабник был, торговал скобяным товаром, и звали его, по пьяному делу, Митрохой Лысым. Раз, в пьяном образе, проездил всю ночь по городу верхом на свинье и, когда, вдребезги пьяненький, упокоился в канаве, явился ему на утрий час Пафнутьй и сказал: «будь у меня игуменом». И стал, преобразясь в Мельхиседека.

Еще в начале самон бил поклоны пламенно, и был сладок ему горький елей монашеского жития. Воздержан был: дважды падал, истомясь, широкой спиной у заутренней, а потом с чего-то трудней стало в безмолнийное небо мертвые камни швырять. Потянулись надоедливо монастырские дни, — тихоходное, бессловесное зверье. К тому же случился с ним тогда большой перелом.

Наложил раз на монаха епитимью за бурное слово, а сам встал на колени и молился весь день и всю ночь. Был обилен пот, были нескупы слезы, и на рассвете, когда заломило огненным сверлом в спине, придинулась душа его ко краю, и, на коленях стоя, высунул он Пафнутию прокущенный свой, в бешеном исступлении, багровый язык... Ибо требовала в последний раз душа его пламенем сверкающего чуда, но не было чуда, и ни молния, ни гневная морщь в Пафнутьевом темном лице. А зорко глядело из Мельхиседековой груди озорное

сердце Митрохи Лысого. И когда не стало чуда, сделалась заместо сердца коряга, и коряга та свиной щетиной поросла.

С той поры и залоснились Мельхиседековы щеки, а голос позычнел, а походка утруднилась телом.

...А слухи о Пафнутьевых останках стали дымом распространяться по земле, потом претворились слухи в славу, — трухлявый господин заезжий ревматизмы вылечил, — а слава в буйную разрослась молву.

И шла она, молва, людским трезвоном по полям бездорожным, по лугам заливным. Входила молва в мужицкие избы, придавленные горем, — залезала в уши к безногим мужикам на полати, к бесплодным бабам в сердца, в головы пустые к невидущим старухам, тем, которые растопыренными пальцами и глазами, налитыми темной водой, щупают с покорностию запахи, звоны и шорохи, вымаливают благостиныку на больших дорогах пространной нищей земли...

И плелись они, бабенки с пустыми глазами, конокрад свихнувшийся, бобыль с бородой, — богомольная, нищая босота, каменное сердце под юродным крестом, — с клоками сена в волосах, с колокольцами в сердце, ползли безногие на мозластых пятернях, и там, перед серебряным сундуком, слепые подымали головы, провидя страшные выси в куполах, мертвым взглядом угадывая Пафнутья, возлежащего в славе, перед собою, бесплодные выставляли вперед пустующие брюха, и рычало в жалобном ожиданьи нутро их:

— Пафнуть, освяти! Посли, чтоб мужичка родить, — назову Пафнутием, — крикунка махонького!!

О, сколько раз протягивали вы, корявые, тяжелые ладони, Пафнутию копейки ваших душ...

...А когда на обеднях затаенными голосами пели херувимскую и кричали навзрыд кликушами пучеглазые Мишки-Кураку, двоюродни Митрохи Лысого, торжественный, как каменный Ваал, стоял Мельхиседек на ковровой игуменской вышке и потел от скуки, а сердце, спрятанное глубоко в черном, не ускоряло к вечности бега своего.

И по мере того, как окружалась Пафнутьева нетленность серебром лампад, мерцающих горе лукаво, окружалось жирком бренное игуменское тело и славой неугасимой белые стены монастыря.

...Что ж, Митроха, живешь неплохо, — поистине претворился польский елей монашества в сладостное уединенья вино!..

...За неделю узнала округа Петушинская: большаки в ту пятницу приедут Пафнутья вскрывать. Ворчали:

— Добрали-ись!

— На земле тесно большакам, на небо захотелось...
— Эко дерзнование, пра-а: святого перетряхивать!

...Тогда дул теплым ветром Федул теплый, и по низинам
морщилась зима. Но еще противился водному зною закоченев-
ший лес, и цвета еще, цвета, случайная, в ближней овражине
лесной, сосна нетающими снежными цветами.

В пятницу забили к утрене, но был то не утренний, а черный
звон. Хотел Мельхиседек преобразить ту пятницу в страстную
пятницу, велел бить медленным, отрывным ударом, раз от разу
уменьшая силу. Не ждала чуда запустевшая душа его.

Накануне, созвав монахов, усадил их рядышком, тридцать
живых, и смиренным голосом, переползая от одного к другому,
умаливал их о прощении, а какого греха, — не сказал. Неко-
торые плакали, а некоторые кукиши в карманах казали, а еще
некоторые все слушали, все слушали и не понимали ничего.
А нужен был игуменскому сердцу порыв какой-то, и торьва
этого ради преклонял ныне пред братией смиренные колена он.

А когда разошлись все, не к молитве, нет, а пугливо думая
о завтрашнем дне, постучался поздно ночью в Мельхиседекову
келью монах Ермоген. Был Ермоген из строевой колоды выте-
сан, был оглобельного роста, а лик у него был черный и плос-
кий, и были ручищи в грабли и ладонь в поднос. Мельхиседек
чайком занимался в то время, когда пришел Ермоген, а слав-
ился Ермоген своим великим послушанием.

Они сели так, один против другого, и долго глядел Ермоген
в Мельхиседека, ожидая гневного игуменского взгляда: был бы
ему утешителен гнев игумена, но молчал тот. И сказал Ермоген
как бы ненароком, исподлобья пуская слова и прилипая страш-
ным взглядом:

— Вот придет день... придет день после ночи... и грянет гром
над головами их!

Мельхиседек обронил глухо, бегая взором:

— Не грянет, нет.

И как-то по-своему поняв ответ игумена, поднялся Ермоген,
и вдруг пугачевское озорство и удаль бродяжная, — был до
пострига бродягой Ермоген, — пробежали у него в синяках
глаз, и, протянув дрожащую руку вперед, с наглостью небыва-
лой потрепал игумена по плечу, — застматривали в вымытые
окна голые, бесприютные липы из ночных глубин:

— Так, может, не давать им? Ворота на запор и в набат? А
то и так: Пафнутья к тебе под кровать спрячем, — скажем,
что ушел, мол, ночью, а?

Угрюмо поднялся Мельхиседек. Голосом, — словно гвозди
рассыпали по камню, — густым и звенящим, произнес со страш-
ной, умиротворяющей силой:

— Иди, Ермоген, с миром. Накладываю на тебя тыщу покло-
нов, а опосля еще поговорим.

А когда ушел Ермоген, темнее ночи ставший, но без еди-
ного слова, и это было плохо, — послал игумен верхового обы-
денкой к викарному в город с письмом: не найдет ли, мол,
его преосвященство возможным поприсутствовать на завтраш-
нем увеселении. Так и было написано в посланье: «...извещены
мы, что приедут завтра холуи, опосля заутрены увеселение над
Пафнутьем, мужикам на посмеши производить. Так вот, уведом-
ляя о сем преосвященство ваше, просить всепокорнейше осме-
ливаюсь, поприсутствовать на холуйском сем увеселении. Все
это к тому, что и вы знаете, и я знаю все, так скрывать нам
ничего...»

Писано было это письмо рукой Мельхиседека и душой Мит-
рохи Лысого.

Поздно ночью прискакал игуменский посланец назад: викар-
ного большаки накануне увезли в комиссию, духовные чины в
смятении, ждут больших бед.

Сказывал это верховой, стоя в дверях, а Мельхиседек, в
одном белье, слушал из смежной комнаты, свесив с кровати
отекшие ноги, и морщился порой, словно от внезапного при-
лива тошноты. Потом, уже перед рассветом, подошел к шкап-
чику, — по бокам висели черноклобучные его, в вечном успе-
нии, предшественники, — и привычно-сторожким, чтоб не раз-
будить старичка-келейника, движеньем достал оттуда бутыль
с перцовкой. Но пить не смог, — рукой махнув и вздыхая ду-
бовой грудью, бессильно ввалился в кровать и увял неспокой-
ным, коротким сном до утра.

Игуменские окна смотрели прямо на собор. Был собор семи-
главый, и золоченые кресты были хороши в апрельской утре-
ней лазури. На голом сукне ближней липы сидела ворона и как
будто вороненок с нею молодой, — они кричали все утро, до
самого благовеста.

* * *

Их приехало четверо и между ними Талаган, и еще семеро
солдат, но одетых не по-солдатски, с ружьями. И все эти чет-
веро были такие, что придраться к ним взглядом никак было
нельзя.

Один был в поярковой шляпе и в очках, темных, но ослепи-
тельных, когда становился против солнца. На боку у него сло-
женной гармошкой висел аппарат. «Позор-то, ох, позор-то!
Осподи-осподи, владыко живота!... — так раз семь прошептал
игуменский келейник, завида мышиные глаза гостя в очках.

Другого звали товарищем Арсеном, — был это высокий, голубой весь человек; иссера-голубые глаза, рубашки ситцевой бледная голубизна выглядывала из-за распахнутого нагольного полушубка, и даже слова его все, немногие, какие говорил он тихим и упорным, по-женски, голосом, отливали голубизной, и даже жилки виднелись голубые на виске, где удивительно среди жилок этих пробегал голубой шрам. Но происходила голубизна Арсена Петрова от железа. Третьим был Талаган, теперь — товарищ Устин, а четвертым длинный человек с фамилией — Якайтис.

Когда все четверо шли в игуменскую келью с бумажками единообразными в руках и безоружные все четверо, был товарищ Устин весь спутанный, затаившийся и темный, и шел, как мокрый мыш. В голове Мельхиседека, глядевшего из окна, облегчением мелькнуло тут: а пиджак-то на тебе чужой, да-да, чужой!.. У товарища Арсена нашлись вот какие голубые слова:

— Мы приехали произвести вскрытие находящихся здесь монет. Вы получили уведомление? Мы сделаем все, чтоб не оскорбить ни ваших чувств, ни чувств молящихся граждан. Наши мандаты вот.

Мельхиседек грузно и через силу улыбнулся при слове «мандаты» и, взяв в руки целую пачку проштемпелеванной бумаги, неуверенно проглядел их, но документы, по рассеянности, держал некоторые верхом вниз.

Арсен Петров заметил, но продолжал:

— Ну так вот. Вы уж поприсутствуйте на вскрытии, — вам придется протокол подписать потом. Вам ничего, покуда, не угрожает, так что можете быть в полном спокойствии. Фамилии наши вот, — это на всякий случай, мало ли что, может, обидитесь. Моя — Арсений Петров, а это товарищи мои — Порфирий Мохлин, Устин Петухов от местной власти и товарищ Якайтис, это вот он.

Якайтис моргнул с головокружительных высот своего роста.

Мельхиседек острым, насмешливым взглядом уставился на Талагана...

... Сколько ни отяготительно всем нам присутствие ваше, однако, в промысле веруя, не боюсь... А памятую, что благоприятливость есть украшение всяческого человека, даже и в трудный для него момент жизни, осмелюсь пригласить вас выпить чайку, поелику гости вы... А ежели устали, можно приказать... яичек тожь.

Но голубой человек уже отвернулся, пряча клинок внезапной насмешки в морской синеве глаз, и слова тут выросли в нем простые, корявые, мужицкие, несуразные, как поленья:

— Нам это ни к чему, отец. Не в гости приехали... Хлопотливость ваша зазря! Ведь в ладонях стер бы, каб тебе власть?

Мельхиседек молчал и глядел в пол, а они ушли, тихо притворив дверь, один за другим, четверо. И тот, которого звали Якайтисом, все щурил, оглядываясь, близорукие, беззрачковые глаза. А Мельхиседек почул себя, как отрок в печи Навуходоносоровой: огонь, а не жарко, но пальцы захолодали холодным липким потом нехорошо...

* * *

Когда они вошли, Савосьяна, пришедшего говеть, придвижнула глазастая толпа людская близко-близко к серебряной раке, где Пафнутьй.

Расширился Савосьян в плечах за ту весеннюю неделю, и налились синевою густою апрельских вод глубокие чаши старых глаз. И еще висела смешно и грустно в бороде Савосьяновой заблудившаяся и мертвая теперь пчела: всю неделю оправлял ульи, прислушивался, как просыпается пчелиная жизнь в медоносных колодах, как жужжит в омшаннике буйный, пчелиных крыл взлет. Тогда сходили снега, вылезала на солнцепеках сморщенная благостыня апрельских зеленей. А вербы в монастырской ограде совсем белыми стали и белость их просвечивала зеленцой.

Печальнее, чем всегда, был той пятницы великопостный звон. Едва вошли они, следом вошел Мельхиседек и камнем встал на игуменской вышке.

Четверо пошептались, и тот, который носил название Порфирия Мохлина, принял у близстоящего монаха спокойным поворотом руки серебряный ключик от раки и всунул его в замочную щель, — замок оказался со звоном...

...Устин, голову словно от грома втягивая в плечи, протянул неуверенно руку, поддержать приподнятую крышку раки.

Тут бабий вздох:

— Ох, осподи, полымям бы их!..

За кружевным серебром крышки лежало тяжелое золото-парчи. Бледный, но спокойный видимо, Арсен Петров приподнял парчу. И тогда пахнуло неуловимо затхлой, сырой гнильцой в зорко растопыренные, сторожащие ноздри Савосьяна...

...А за парчой, обнаженные дневным светом и не одной сотней остановившихся в безумном ожиданье глаз, голые лежали на лиловом блеклом шелку темные немногие кости Пафнутия и малый череп его...

...Стояли в первом ряду Савосьян с Алешей, две бабы, — одна бельмистая, другая брюхата ча седьмом, мужичок с хо-

холком напереду и слепец нищий, зорко внимавший шелушивым ухом свершающегося пролома ходу. Едва стихли все,— тут, приседая плечом, ворочая затекшей от напряженья головой, как-то нечаянно,— никто не ждал,— взял слепец вытянутой сухой рукой череп Пафнутья и, большие, черные свои пальцы вложив в глазные костяные Пафнутьевы впадины, произнес негромко,— скрежещущим плясом отдавали слова:

— А вот тут у нево, у старичка, глаза были... А ноне их и нету. Эко дело!..

И тогда в тишину, которая как омут, острым колом ввалился надрывный сверлящий крик забившейся кликуши. Пробегал мелкосеменящей рыбцой мимо игуменской вышки Устин Петухов выводить припадочную бабу, ...и звенящим голосом, как плевком, обрушившись на Талагана, гаркнул яро Мельхиседек:

...— Эй, ты, дьякон,— гони их в зашней!!.. Подсвешником по шеям... сволоту бей...

В разбредающемся гуле медленно повернулся вместе с головой, пегие, в Мельхиседека, навыкат глаза Якайтис и шею побагровевшую почесал карандашом и рванулся нерусским словом:

— Чито-о?..

Но остановился, как остановилось все, смиренное железным взглядом голубого человека:

— Ину, вы!!

И продолжил:

— Вы б потише, отец, здесь как никак церква, а не кабак-с!!

Поворотясь к человеку Порфирию Мохлину, проговорил полным голосом:

— Вот вы о деликатности говорили... Какая тут к чорту!..

А толпа, раздавленная испугом, как мышь поленом, и монахи, тревожно разинувшие помутневшие глаза, слушали растерянно тяжеловесные лохмотья шумов, криков и шорохов, перелетавших гулким эхом в невысоких куполах... И не знали: бежать ли, кричать ли, хватить ли оглоблей по клобуку расшившегося игумена или укусить за ногу приезжего латыша...

... Стоял Мельхиседек с лицом, разорванным надвое: в одной половине — ужас, в другой — гнев. И, палец закусив, не расплакаться чтоб, покачивался подле него келейник и все ждал, ждал чего-то от игумена. А тот, все еще вылупив налитые волчьею кровью глаза в Пафнутьев образ, повешенный серебряному, раскрытому сундуку наискосок, глядел и глядел, не моргая, глотая ведрами воздух, дико сквернословия обезумевшей мыслью своей... И вдруг ясно различил ответное, жестокое действие там, на доске: усмехнулся с басменой доски Пафнуй Мельхиседеку в упор.

Они-то, конечно, и не заметили. Гармошку свою раздвинув на Пафнутьевы останки, щелкал пружинкой Порфирий Мохлин и вынимал и новые вставлял и опять щелкал,— теперь уже всех: и народ глазеющий, и всхлипывающего молоденького монашка на темном клиросе, и диким взглядом, как оглоблей, размахнувшегося игумена.

Лицом бледнея неладно, сбросил с себя клобук Мельхиседек и тут все увидели, что игумен был лыс. Угрюмым солдатским шагом, раздавливая захрустевшую картонку, пошел он к двери, из собора вон. Чуялось в его твердом шаге неслышное величие уходящего мертвца.

Но этим не кончилось: ему, уходящему, заступил путь монах Ермоген. Он жевал губами,— может язык свой жевал! — и, на вершок выпячивая каменную свою челость, проговорил отчестисто:

— Что ж молчишь!.. Ты меня водицей святой поил, когда я без ног лежал... А хошь в ухо дам тебе?..

Суровой рукой, широким оглобельным движеньем отведя монаха в сторону, вышел из собора Мельхиседек.

Когда ушел,— в растерянности общей, чуточку колеблясь, но снова овладевая собой, выкинул Арсен Петров голубую улыбку, как мяч, в посеревшее лицо Савосянья:

— Ну что, как,— видел, дедушка?

Разводя руками, словно на жмурках, вытянул из себя размашистые, недопускающие и виноватые слова Савосян:

— Што ж, оно конечно! Наше дело махонько: живем в лесу, молимся колясу...



ПЕТР СКОСЫРЕВ

ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА

Отрывок

Кеминэ¹, как вошел в кибитку Хал-Мурада, так сразу и опустился на кошму возле входа, где чопаны и бедные родственники молча сосали кости, какие им достались после старших гостей.

Но мулла, увидев служку, немного потеснился и сказал громко:

— А вот и мой служка-сопи². Садись, садись сюда. Место ученика всегда рядом с учителем.— И добавил: — Очень это трудное дело — обучать учеников. Два часа в сутки они читают коран³ и хафтиак⁴, а остальное время сидят без дела и просят есть. И мулла их должен кормить. А откуда взять столько баранов и хлеба? Вот когда случится беда и умрет какой-нибудь туркмен, ну, тогда родственники покойного отблагодарят муллу. Но, слава аллаху, туркмены живут долго, и быть муллой — это очень трудное дело.

Хал-Мурад опять не сказал ни слова. Он сидел, как истукан, и хлебал шурпу⁵, словно забыл, что молитвы давно прочитаны и мулле время торопиться в Ташауз⁶.

— Туркмены живут долго, — продолжал мулла, — и жили

¹ Кеминэ — прозвище, псевдоним, взятый популярным в старой Туркмении юмористом-сатириком (настоящее имя его забыто) и ставший потом нарицательным именем каждого человека, умеющего веселить людей умной и язвительной шуткой. Кеминэ — слово персидское и в переводе означает: «остаюсь покорнейшим вашим слугой».

² Сопи — ученик мусульманской религиозной школы.

³ Коран — главная священная книга мусульман.

⁴ Хафтиак — седьмая часть корана, составленная как учебное пособие.

⁵ Шурпа — похлебка, суп.

⁶ Ташауз — город в Туркмении.

бы еще дольше, если бы их не убивали ударом молотка по голове или ножа в живот. Никогда не надо прощать обидчику, как никогда не надо оставлять муллу без награды.

Страсть, охватившая сердце Кеминэ, не дала ему спокойно проглотить даже и одного куска мяса. Он быстро поднялся и сказал, весело глядя на муллу:

— Там, я видел, сыновья почтенного Хал-Мурада собираются в погоню за колтоманом¹. Кончай, мулла, есть, поедем с ними. Они ли убьют колтомана, текинцы ли убьют их, — нам с тобой все пожива.

Но сыновья Хал-Мурада как-раз в это время вошли в кибитку. Они возились у коней вовсе не за тем, чтобы гнаться за текинцем. Они сняли с коней седла и сложили их там, где валялась всякая домашняя утварь.

Какая это была жалкая утварь! Мулла готов был плакать от досады, когда оглядел ее. Ни серебряных уздечек, ни дорогих стремян, ни блестящих украшений,— простые деревянные седла и ремни, каких постыдится самый бедный лавочник в Ташаузе. «Но, может быть, баранов у него не счастье,— стал себя утешать мулла.— Эти дикари не понимают толка в дорогих вещах. У него тысяча баранов бродит по пескам, а он седла порядочного не купит».

И так как Хал-Мурад попрежнему хлебал шурпу и ни слова не промолвил о награде, мулла решил действовать напрямик.

— Хорошо в раю,— начал он тем голосом, каким всегда читал молитвы, торжественным и густым.— Там есть все, чего нехватает иомуду² на земле. Круглый год там цветут деревья, и тень от них так густа, что даже днем райский житель не испытывает жажды: захотел пить — на деревьях персики и урюк. Поднял руки и рви. Вши тебя заели — скинь рубашку и купайся в хаузе³. Никто не прогонит. А потом ложись спать, и к тебе придет самая красивая женщина, о какой ты хоть раз мечтал на земле.

На то Пир и был муллой, чтоб говорить красиво. Даже Хал-Мурад заслушался и отвалился от котла. «Да уж не плюнуть ли на эту собачью жизнь,— подумал он,— и поскорей отправиться вслед за братом». Один Кеминэ как будто не торопился в сады аллаха. Он опустился на кошму и хлебал шурпу с такой жадностью, что чавканье его далеко разносилось по пескам.

— Послушай, сын мой,— обратился к нему мулла укориз-

¹ Колтоман — участник разбойниччьего набега.

² Иомууд — одно из племен туркменского народа.

³ Хауз — водоем, озеро.

ненно,— нехорошо так чавкать. Это неприлично. Смотри, как ем я — тихо и благородно.

Лучше бы он не трогал Кеминэ! Ведь Кеминэ все делал неспроста. Пир сделал свое замечание, а Кеминэ выставил вперед бородку и посмотрел на муллу глазами, в которых ничего не было, кроме злости.

— А я слышал, мулла,— сказал он,— что только вор, когда подбирается к чужим баранам, старается все делатьтише. Мне чужие бараны не нужны, и я ем, как хочу.

Сыновья Хал-Мурада стали смеяться, и чопаны тоже, а мулла пробормотал про себя: «Ну, погоди ж ты, старый чорт»,— и продолжал громко:

— Хорош и велик рай. Всякий, кто попадет туда, проклянет каждый день жизни на земле. Скажет: «Зачем я так долго бродил по пескам икопил богатства и кормил баранов. Лучше б мне было умереть в тот миг, когда мать моя уронила меня на кошму».

Мулла умолк, уронив бороду на халат. На глазах его выступили слезы.

Хал-Мурад молчал. Он видел эти слезы. Видели и остальные. Даже чопаны перестали грызть кости и уставились на муллу.

— А как же попасть туда? — произнес наконец Хал-Мурад полуушопотом.

Наконец-то он открыл рот! Мулла того и ждал. Теперь не отделаться тебе одной шурпой. Держись, Хал-Мурад!

— Перед входом в рай,— начал мулла снова,— течет бурная и большая река. Ни вплавь, ни в лодке ее не переплыть. Вода в ней горячая, и всякий, кто сунется туда, пойдет на дно.

Показывая, как это будет, мулла опустил кусок хлеба в котел. Хал-Мурад заглянул в котел. Вода в нем была горячая.

— Но не нужно отчаиваться,— продолжал мулла,— можно все-таки перебраться через этот поток. Ведет через реку мост по названию Тульфат. Он прямо упирается в ворота, за которыми раскинулись сады аллаха. Только мост тонкий, как лезвие ножа.

Тут вся кибитка, полная гостей, стала как бы одним большим ухом. Это ухо жадно ловило каждый звук, какой вылетал из глотки муллы. А мулла замолчал. Он сказал — и умолк. Только слышно было, как шурпа переливается и закипает в его кишках.

— Да как же пройти-то по такому мосту, господи! — с тоской воскликнул хозяин, а за ним и гости стали волноваться и выкрикивать разные слова:

— А проходил ли кто по этому мосту?

— Может быть, в раю-то один аллах, под ручку с Мухамедом гуляет, а больше и нет никого?

— Вот в Мерве¹,— сказал задумчиво младший брат хозяина,— через Мургаб² бревно перекинуто, и то не пройдешь. А тут — как лезвие ножа.

— О алла...

А один совсем невидный родственник, который сидел неподалеку от чопанов, даже рукой махнул.

— Этот рай, выходит, для одних фокусников. Ходил я в Бухару с шерстью, видел, как киргиз по канату бегает. Интересно.

Мулла того и ждал. Ведь и певец самое трудное колено припасает к концу.

У муллы жилы на лбу стали лиловыми, когда он сказал протяжно, точно пропел:

— Это очень нетрудное дело — перейти по мосту. Надо только не скучиться и жертвовать мулле баранов. Когда умрешь, бараны побегут через мост, ты уцепишься за их шкуры и живо очутишься в раю. А кто в этой жизни думал отделаться одним угощением,— наварил шурпы — и все,— тот с котлом в руках будет перебираться через Тульфат. Если он фокусник, может быть, он и попадет в рай.

Мулла окончил песню и, торжествуя, смотрел на Хал-Мурада.

Бедный Хал-Мурад! Бедный неученый иомуд! Ты и не знал, что у муллы Пира всегда найдется такое слово, после которого тот, кто хотел дать одного барана, даст десять. Ты отобрал для муллы большую овцу и молчал весь обед, чтобы подсунуть подарок, когда мулла уже сядет в седло. Поди разбери, хромая овца или здоровая, когда ее, связанныю, положат на коня. Вот ты сидишь, бедный Хал-Мурад, склонив голову, и слезы катятся по твоей бороде. Бедный осиротевший иомуд! У тебя не осталось старшего брата, не останется и баранов — их поведет за собой Пир.

Вот ведь какую грустную песенку пропел жаворонок.

Но только мулла приехал не один, с ним был и его служка, Кеминэ.

Кеминэ кончил хлебать шурпу и, не слушая муллу, громко обратился к чопану:

— Скажи-ка, друг, доводилось тебе когда-нибудь гонять баранов?

Чопан в это время думал сокрушенно, что надо бы и ему, на всякий случай, подарить одного барашка мулле. Он даже

¹ Мерв — город в Туркмении.

² Мургаб — река в Средней Азии.

не повернул головы в сторону Кеминэ и ответил хмуро:

— Каждый день я пасу баранов.

— Ну, а приходилось ли тебе гонять баранов по мосту?

— Какие у нас мосты,— ответил чопан,— один у нас в степи арык, и тот пересох давно. Мы его вброд переходим.

— Ну, а если по мосту гнать,— не отступал Кеминэ,— как легче управиться с баранами — когда их много или когда их мало?

Ишь куда гнул старик! Мулла повернулся к нему всем своим брюхом. Хал-Мурад приложил ладонь к уху, а второй чопан, который весь обед сидел тихо, не утерпел:

— Ученый ты человек,— обратился он к Кеминэ,— а про такие пустяки спрашиваешь. Да разве баранов по мосту гнать можно? Если встретился арык, тут уж рук не жалей, сажай каждого на плечи, как сына, и тащи на себе. Не то все стадо загубишь. Баран — какое животное? Лезут враз, толкаются, а один упадет,— и остальные в воду поскакут.

Тут уж Кеминэ мог дать волю своей страсти.

— Какой ты шутник, мулла, — вскричал он весело, — никогда ничего прямо не скажешь — все с прибаутками. Ты видел, что Хал-Мурад для тебя барашка приготовил, и остерег его, чтоб ему потом с моста не сорваться.

И обернулся к Хал-Мураду.

— Хозяин, ты благодари, благодари доброго муллу и пусти своего барашка обратно в стадо. Мулла зря словами кидаться не будет.

И когда хозяин стал кланяться мулле и благодарить его, Кеминэ обратился к сыновьям Хал-Мурада.

— А что вы сидите, сложка руки? — закричал он.— Не слышали, что сказал мулла? Берите скорей луки и бегите в степь, застрелите орла. Он живо вас в рай перетащит. А если двух подстрелите — и того лучше. Мулла из них себе чучела набьет.

Сыновья Хал-Мурада — проворные ребята; они живо сорвали со стен луки и убежали в степь, а мулла Пир вскочил с кошмы и, икая от злости, кинулся к выходу.

«Погоди, чортов сопи,— думал он, громоздясь на свою кобылу,— выберемся из аула, вернемся в Ташауз, там тебе кази-раис¹ покажет чучело».

Но только мулла зря рассчитывал так скоро выбраться из аула. Уж если Кеминэ с кем решил поквитаться, так уж расквитается до конца. Не успел мулла ногу вставить в стремя, как старик подскочил к нему и всплеснул руками.

— Ай, ай, ай, мулла,— закричал он,— да ты никак на ко-

¹ Кази-раис — духовный судья.

быле приехал! Ну, как тебе не совестно! На кобылах одни бабы да ребята ездят, а всякий туркмен выбирает себе жеребца погорячей. Что будут говорить иомуды! Они скажут: «Мулла Пир — трус; мулла Пир — баба». Да они тебя ни на какие похороны теперь не позовут. Разве баба может читать молитвы? Ее никакой пророк слушать не станет.

Совсем мулле не надо было связываться со служкой. Это он понял очень хорошо, но не мог же он оставить насмешку без ответа. Туркмены такой народ: начнут брехать по аулам, что мулла Пир трус, и впрямь не позовут на похороны. А ведь еще сколько старых людей бродит по пескам и в землю просится. И мулла решил не показать виду, что его задели слова Кеминэ.

Он, наконец, взобрался на седло и сказал весело:

— Мне, чтоб учеников кормить, много денег нужно. А откуда я их возьму, раз иомуды не заботятся о небесной жизни. Я и купил кобылу. Она бегает быстро и каждый год приплод приносит. Я в нее деньги, как в казначейство, положил. Ходи только и получай проценты.

И тут Кеминэ сказал такое, после чего муллу Пира уж никогда не приглашал ни один иомуд и ни один тек¹ ни на похороны, ни на свадьбу.

Кеминэ подбежал к кобыле и похлопал ее по крупу.

— А тут, вероятно, дверь в казначейство,— сказал он, смеясь.— И часто, мулла, тебе пришлось наведываться сюда, раз ты такой большой дом в Ташаузе построил?

Уж и смеялись туркмены! Мулла удариł кобылу плеткой и ускакал в степь. Кеминэ, догоняя его, тоже успел скрыться за барханами, а чопаны и декхане², стоя возле кибитки Хал-Мурада, долго смотрели им вслед и хохотали так, что слезы дождем падали на песок.

Наконец, младший сын Хал-Мурада, который так и не подстрелил ни одного орла и сжимал в руке всего пяток мертвых жаворонков, догадался:

— Да это, верно, сам Кеминэ был. И бородка у него, как у кесе³, и шуба в заплатах.

И остальные тогда тоже поняли, что это был Кеминэ, и пожалели, что отпустили его так скоро. А потом они разъехались по соседним аулам и всюду рассказывали о том, как Кеминэ осрамил и осмеял великого муллу.

¹ Тек э — туркменское племя.

² Декхане — крестьяне.

³ Кесе — персонаж многочисленных туркменских сказок, ловкий хитрый человек.

ИВАН КРАТТ

МУНГО

Бело от стужи небо, бела и равнина, только рыжие клочья засохшей травы торчат из-под снега на ней да голые одиночки-лиственницы, тощие, опутанные черными космами столетника мха, отметились на ее обнаженном снежном просторе.

И река белая, придавленная силой холода, и камни порогов реки, обточенные весенними паводками, вмерзли в покоробленный, растресканный лед.

Лишь далекие сопки с лесистыми подолами чернеют зубцами гольцов, молчаливые, омертвельные.

И время, кажется, сцепила стужа и остановила его. Ни зверя, ни птицы, ни голоса человечьего. Пусто, тихо... Чужое для земли солнце полинявшим предвечерним светом своим не освещает нескончаемых, то легких и быстрых, то тяжелых и глубоких, следов Мунго. Они тянутся по пойме реки, переплетаются, образуя петли, уходят в даль, возвращаются...

Осунувшееся лицо Мунго вытянулось, выпятились скулы, и запал глубоко рот, с шершавыми, обветренными губами. Он садится на кочку. Ноги непослушные, тяжелые. Дрожат руки. Под лохматым малахаем прилипли волосы к потной голове...

Мальчику кажется, что время пробежало, как олень на праздничных бегах — быстро-быстро...

Неприметным землистым налетом легли тени в распадках, и дальние отроги гор окрасились в нежнорозовый цвет.

Торопливо поднявшись с кочки, мальчик шарит глазами по снежному полю и идет дальше, внимательно присматриваясь ко всякой отметине на снегу. При каждом повороте головы на его воротнике трутся и звякают сосульки. На берегу реки он снова находит мелкий, как бисерное шитье, след. След вьется по снегу и тонет в глубокой норе.

Мальчик падает на колени и голыми руками разгребает снег. Коченеют руки, скрючиваются посиневшие пальцы. Он засовывает пальцы правой руки в рот, греет их, а левой рукой ломает сухую корку снега. Под снегом, как и везде, пролденевший мох. Пальцы стучат, как деревянные, и нет в них силы. Он снова греет негнущиеся пальцы, достает нож и расширяет нору. Но вскоре руки перестают держать черенок ножа, нож отскакивает от мха и, падая, звенит.

В уголках глаз Мунго выступили слезы. Выступили и замерзли. Он придвигается к бесснежной кочке, колотит об нее руки. Острая жесткая трава режет пальцы, лед задирает ногти, но он останавливается только тогда, когда появляется боль.

Теперь он ладонями обхватывает рукоятку ножа и продолжает рубить. Мелкие ледяшки с волокнами серебряного мха бьют ему в лицо, в рот, глаза. Он крепко сжимает губы, надвигает малахай и, не останавливаясь, рубит. Мох поддается — и... снова пустая нора.

Пальцы Мунго ничего не нащупывают в норе. Мальчик не верит. Он снова кладет пальцы в рот, напрягается весь, отдавая им последнее тепло своего тощего тела, снова ищет, но в норке ничего нет. Ни съедобного корешка, ни ягоды...

А солнце уже умерло для равнины. Еще над сопкой, за которую оно сползло, — светлое небо, но наступающая ночь ложится на землю плотно, все сгущаясь. Темнеет снег, и в сумраке стираются, исчезают дали.

Несколько минут Мунго идет, не соображая, куда и для чего, затем опускается на четвереньки и ползет дальше, глядываясь в снег. Снова находит нору и снова раскапывает ее. Опять пусто.

Мунго долго сидит на снегу.

Холод усиливается с темнотой. Он охватывает все тело Мунго, забирается под меховую рубаху, отвисшую на впалом животе.

Мунго очнулся, встал. Время ушло, а еще ничего он не нашел, даже небольшого корешка... Тогда Мунго побежал. Словно он мог перегнать время и остановить свет. Зацепившись за кочку, он падает и, уже не вставая на ноги, лихорадочно ползет. Чтобы лучше рассмотреть след, еще ниже опускает голову, упирается локтями в снег. Сосульки на воротнике царпают лицо. Дыхание оседает кудрявым инем на меху одежды, торбазы¹ загребают снег, и он, нестерпимо-колоющий, набивается в вытертые меховые чулки. Но вот движения мальчика становятся медленней, тише. С трудом передвигаются ноги, а локти рук сквозь разорванную старую одежонку разбиты до крови.

¹ Торбазы — меховые сапоги.

Теперь он уже не перелезает напрямик через кочки, а огибает их, и там, где вдавливались острые локти, на снегу остаются красноватые пятна.

Обессилен, он валится на бок и некоторое время лежит, не двигаясь. Затем упирается в снег ногой и руками, ложится на локти и опять ползет. Глаза его уже почти ничего не различают, да он и не верит теперь в возможность отыскать нору. Он движется вперед потому, что нехватает решимости отказаться от надежды найти пищу.

Выше стало небо, глубже. Оно светится звездным светом, строгим, внутренним, не достигающим до земли. Окрепший сверкающий рог месяца раздвинул вокруг себя звезды и повис над хмурыми сопками и немою, задавленной снегом долиной.

У высокого корягового пня с глухими, белыми, как ребра скелета, корнями Мунго снова наткнулся на норку мыши. Возле норы валялись две треснувшие от мороза ягоды брусники.

Сердце у Мунго срывается куда-то вниз.

— Видно, дома... — шепчет он, становясь на колени и затыкая рукавицей вход норки.

Он опять силился раскидать снег руками, но они не подчиняются ему. Он держит их под малахаем, — там единственное место, где сохранилось тепло, и трет их о спутанные жесткие волосы, придерживая зубами уши малахая, чтобы не сползал с головы...

Мышь находилась в норке — бежать ей было некуда. С сильно бьющимся сердцем Мунго ложится ничком на снег, к разрытой ямке. От напряжения и от запаха расковыренного мха кровь приливает к его вискам. Не надеясь на проворство рук, трудно дыша, он почти закрывает отверстие лицом, подтягивает пальцами большую полумертвую пеструшку мыши.

Как, может быть, тысячи лет назад его предки, в жестокой борьбе за пищу — жизнь, он выдавил из себя смутный, короткий крик. Это звучали мышцы и тело, освободившееся от напряжения.

Успех вернул на время силу, и мальчик уже почти не чувствует утомления. Он бережно засовывает за низуху убитого зверька — свою добычу. В норе он нашел еще какой-то маленький грязный корешок, обгрызенный мышью. Он запихивает его в рот и, усевшись на кочку, принимается вытряхивать из торбазов снег.

Усталость снова овладевает им, и вместе с ней пробуждается страх. Кругом пни, корни, бугры сланника, покрытого снегом. Призраками торчат в темноте редкие калеки-лиственницы. Мунго идет, прижимая к груди добычу, идет осторожно, про-

бя ногой место, прежде чем стать на него твердо. Он боится упасть, чтобы падением не разбудить духов. При обходе куста под ним ломается трухлявый сук, — Мунго хватается руками за дерево и, в страхе зажмурив глаза, долго стоит, прислушиваясь к лесу. Но лес тихий, неподвижный. Облегченно вздохнув, мальчик опускает под кухлянкой¹ место, где спрятана мышь, и вдруг кричит. Среди этой омертвленности голос звучит дико, как крик первого человека на земле. И эхо, может быть, в первый раз родившись здесь, также откликается дико, глухо. Шаря руками за пазухой, Мунго трясется весь... Мышь наслась: она завалилась под ослабшую опояску.

Теперь он снимает ремень, перепоясывается поверх кухлянки и, проверив еще раз, лежит ли на месте мышь, еще сильнее прижимает ее сверху одежду рукой и, все так же осторожно ступая, бредет дальше к тропе.

Угас давно костер. Отогнута облезшая шкура у входа, на дуло в щель снега — горбиком лежит он нетронутый. Тонкая старая ровдуга — обтяжка шатра — покрылась инеем, давно всосался мороз и через дымовую прореху, через дверь у стенки урасы².

В устоявшейся тишине слышно, как грызут зубы что-то твердое, грызут долго, без устали. Похоже, что в самом углу темной урасы невидимая собака силится одолеть голую дивную кость. Но во всем стойбище Заячьего рода на реке Коркодон уже нет ни одной собаки. Двенадцать лучших забрал дружок шамана, купец Семенов, полгода назад, в уплату за дедовские долги, — взять у голодного стойбища больше было нечего. А обглоданный череп последнего щенка лежал, занесенный снегом, возле урасы Чолгара, рядом с роговыми корками копыт сохшего...

Вскоре грызня в углу прекратилась, послышалась тонкий, тихий плач, безнадежный, ничего не выражавший... Оборвался и плач.

И кругом тишина. Через щель входа виднеется обрывок нищей, хмуровой тайги, всползшей на сопку и потерявшейся в ночи. Скудно мерцает снег с увязшими в нем пятью островерхими темными жилищами...

Мунго влезает боком в урасу, мешает наметенный бугор, приложивает за собой полог. Никто не отзыается на его приход. В жилье тихо, только из дальнего угла еле различимо слышится прерывистое дыхание.

«Спит», — подумал он. Ему самому хочется спать: он очень

¹ Кухлянка — верхняя меховая одежда. Надевается через голову.

² Ураса — шатер из выделанных оленьих шкур.

утомлен, но мальчик срывает с себя оцепенение. Он нащупывает рукой пепелище и спешно разгребает еще теплую золу. В ней находят два чуть приметных тлеющих глазка. Он прижимает к ним ветки кедровника, клок черного мха, дует на угольки. Сухой мох всыхивает, лопоча, разгораются ветки и к выходу, вверх тянется синий дымок.

В углу, на постели из веток и разного хлама лежит мать. Тень от Мунго падает на ее вытянутую ногу в белом торбазе, наполовину прикрытую облезлым покрывалом из оленьей шкуры.

На лице мальчика проступает слабая улыбка. Он торопливо сует руку за пазуху, обрывая с воротника падающие за рубаху скользкие сосульки, заставляющие его ежиться и вздрогивать. Нащупав мышь, он с трудом вытаскивает ее распухшими пальцами, поворачивается к матери. Большая полевая мышь лежит на ладони... И неожиданно падает, выбитая из руки, в костер. Вспыхивает шерсть. Внезапность нападения ошеломила Мунго, но инстинкт заставил броситься к огню и, обжигая руку, выхватить зверька. И сразу же он пятится в сторону, крепко зажав в кулаке добычу.

В рваной кухлянке пятилетний Эльтык, брат Мунго, снова бросается к нему и молча цепляется худыми детскими пальцами за его рукав, сверкая глазами, как голодный волчонок. Он не просит, он не видит ничего, кроме комочка пищи. Мунго страшно, он отталкивает брата, чуть не падает сам и, защищаясь рукой, протягивает пищу в угол, к матери. Тогда Эльтык впивается зубами в его руку, только силы нехватает, — зубы разжимаются, он оседает на пол и жалобно пищит:

— Дай! Дай!..

Мунго, все еще закрываясь рукой и следя за ним, подползает к матери, дергает ее за рукав, поспешно тычет зверька.

— Возьми.

Но рука Ларьги, стиснутая в кулак, падает с тупым стуком на пол...

Мунго срывает покрывало. Глаза матери закрыты, угластым стало обтянутое серою кожей лицо, заострился нос, провалились губы... Мальчик в страхе выпускает шкуру из рук.

Эльтык приподнимается и, хлюпая носом и мокрым ртом, захлебываясь шепчет:

— Дай мне. Дай! Она холодная. У нее чужое лицо...

Мунго оборачивается к нему.

— Тише. Не говори худо. Она ушла к предкам.

Эльтык умолк... Трещат ветки лиственницы на костре, выбивая в прудушину искры к далекому, темному небу. От закоп-

телого крюка над огнем, переплета жердей, по углам шатра, по шкурам постелей кривляются тени...

Молча сидит у костра Мунго. Душа матери ушла к предкам. После смерти она, может, вернется на землю песчинкой, травинкой, и пройдет много, много зим, пока снова станет человеком... Голодная ушла душа, и сможет ли добыть себе пищу одна, совсем старая, и сколько надо идти в стойбища теней? Может, не выдержит трудной дороги, останется совсем одна... И он, кормящий, не сможет помочь ей, ибо где искать душу в пути?

Мунго встал. Он отнесет на дальнюю переправу мышь, положит на тропе. Душа матери будет проходить, возьмет хоть немного пищи. Он еще осилит дорогу, успеет отнести. Разве старая душа может идти быстрее его, даже уставшего?

Мунго торопится. Он подкладывает корневище в костер — только тлеть будет, подходит к Эльтыку. Ребенок скорчился на вытертой шкуре, дрожит. Худые ноги, с грязной шелудивой кожей, поджаты. Глаза, запавшие, воспаленные, следят за каждым движением брата.

— Пойду. — Мунго накидывает на плечи брата старую материнскую кухлянку, поправляет ее. — Смотри огонь.

Торопясь, он задевает угол шатра, и кудрявый иней сыплется белыми стружками на ребенка. Эльтык не двигается, молчит и только глядит, не отрываясь, на Мунго. Тот отворачивается, выходит из урасы. Перед ним все время неотступные, голодные глаза Эльтыка, и сердце его сжимается от жалости... Но душа матери очень стара, она не поймает рыбу, не найдет норки мыши, она не пройдет пути к предкам без пищи. А он, возвращаясь домой, наломает коры тополя, мягкой, сочной; растопит в кotle снег, и они съедят распаренную кожу дерева. Солнцем он снова уйдет искать пищу.

Он напрягается и прибавляет шаг. Тихо, непомерно тихо в лесу. Снег хрустит под его торбазами отчетливо, звонко. Хруст раздирает тишину, стучит в ушах, заполняет лес. Мунго останавливается, оглядывается боязливо, — плохо, если пронесутся лесные духи, — и вдруг замирает.

Эльтык, без шапки, загребая снег длинными полами и рукавами одежки матери, увязая в нем, как воробей с подбитыми крыльями, сilitся поспеть за братом. Одна нога Эльтыка болея, — растоптанный торбаз застял в намете.

Мунго подбегает к ребенку, схватывает его, хочет поднять на руки, но не осиливает и валится вместе с ним в снег. Эльтык дрожит, плачет.

— Дай...

Спотыкаясь и падая, Мунго втаскивает Эльтыка в урасу, кладет на шкуру, трет подмороженные ноги ребенка.

Эльтык теперь молчит, всхлипывает и смотрит на брата. Рубашка на нем разлезлась, и Мунго ясно видит тонкую-тонкую шею, ключицы и ребра, как высушенные птицы кости... Сыре дерево сипит, потрескивает на костре, пламя разгорается, и лепестки сажи оседают на белый торбаз Ларьги.

Мунго, зажмурясь, встает, вытаскивает мышь и решительно рубит на два небольших кусочка мяса, смотрит еще, и отдает Эльтыку половину.

Ребенок жадно хватает пищу, крепко зажимает в руке и уползает в угол.

Мунго заворачивает в мох вторую половинку мыши, прячет на груди, затем вылизывает нож. От запаха пищи судороги сводят живот, перед глазами скачут темные пятна. Он опирается на жердь и стоит, едва переводя дыхание. Но вот боль утихает, он прячет нож, поспешно подкладывает веток в костер и, пригнувшись, вылезает из урасы.

Жидко хлопает за них полог.

Берега Коркодона крутые, скалистые, тропа запуталась, местами затаилась под сугробами, и Мунго долго ищет спуск.

У самого берега на большом камне-валуне, покрытом сверху коркой зернистого снега, он кладет мышь. Придавив ее галечником, чтобы не унес ворон, мальчик близко нагибается к валуну, выскребает ножом на снегу знаки — человека, покинувшего урасу,— и, поправив еще раз галечник, медленно карабкается наверх, часто отдыхая на каменистой тропе.

Выбравшись на берег, он садится на поваленный ветром старый дуплистый тополь. Теперь, когда он выполнил все, что требовал слепой обычай заброшенного юкагирского племени, вычеркнутого царским указом даже из ясачных книг, он почувствовал охватившую его необычайную слабость. Тело обмякло, ноют и горят ноги, слипаются веки, смерзаются. Зато есть он уже не хочет. Мунго вдруг улыбается. Он хорошо выполнил обязанности кормящего. Может, душа матери сейчас подходит к камню и видит заботу сына. Только очень плохо ей будет ходить по этой тропе. Он вспоминает, как молился шаман на камланье, помогая душам, ушедшим в далекий путь, и негромко повторяет слова: «Хорошенько иди. Чего стала среди дороги? Ты разве не видишь пропасти, не видишь стремнин?» Мальчик повторяет слова три раза и облегченно вздыхает. Теперь душа будет итти осторожно, найдет пищу. Хорошо... Завтра он опять пойдет на охоту, накормит младшего и поест сам. Очень худой Эльтык — надо много мяса. А может,

вернется Катун из стойбища русских. Много дней как он ушел. Катун привезет пищу. У русских очень много еды. Тогда он отдохнет...

Мунго закрывает глаза, но сейчас же испуганно открывает их, моргает ресницами, отирая с них ледяшки ногтями. Нельзя закрывать глаза, надо итти домой, в стойбище. Там Эльтык, мать хоронить надо. Завтра он пойдет к Чолгару, пускай хоронит...

При воспоминании о стойбище, людях он дремотно улыбается. Его ноздри даже ощущают запах дыма, едкий, сладковатый. Он пробует встать, — налитые тяжестью ноги не движутся. Тогда он опирается на торчащий сук дерева, переступает с ноги на ногу, чтобы разойтись, и... медленно оседает на пень. Запах дыма, людского жилья не покидает его...

Он не знает, что сегодня люди уходили из стойбища. Половину ночи в урасе Чолгара, шамана и старейшины Заячьего рода, горел костер, и мужчины решали свою судьбу. Помощи ждать неоткуда. Катун вернулся из русского поселения и сказал, что русские бросили голодные места, забрали все товары, закрыли факторию и уехали к морю. Даже агабыт¹ бросил церковь и собрался к якутам. Купцам нужна пушнина, а не голодные люди. Ограбив, они ушли.

Уже давно лучшие люди приходили без дичи. Патронов не было, силки и самострелы были пусты, реки промерзли до дна, и в ледяных продухах сдохла рыба. Женщины и подростки не находили корней; даже мыши ушли из нор. Такой голодной зимы еще не было.

Старый Чолгар требовал покинуть стойбище, ибо духи лесные и водяные прогневались, и восемь человек из восемнадцати в стойбище умерли от голода. Он требовал бежать тайно, ночью в другие места, пока духи спят. Может быть, они найдут приют у якутов. И мужчины согласились с старейшиной.

Тихо, погасив костры, сняли женщины ровдуги шатров, взяли детей, взяли и Эльтыка. Когда все было кончено, мужчины собрали охотничьи припасы, и вереница голодных людей, навьюченных скарбом, согнутых, изможденных, как призраки, ушла через долину.

Собачья упряжка пробиралась по тайге к Коркодону. Был тихий и ясный день, и солнце отблескивало на большом серебряном кресте, висевшем поверх кухлянки на груди седока. Это уезжал в якутские селения агабыт, рассчитывая по пути сбратить «подарки». Миссионер не нашел ни одного стойбища

¹ Агабыт — по-якутски миссионер, поп. Дословно: «Отец-вошь».

юкагиров, ехал тревожный и дрожал от холода. Мешок для «подарков» был пуст, как и пустынная, словно мертвая, тайга.

Неожиданно на опушке у большой лесины, собаки рванули в сторону. Агабит соскочил, упал и, волочась по снегу, с трудом удержал приколом нарты. Зацепив их за пень, он пошел посмотреть, что испугало собак.

Впереди, у обомшелого пня, лежал Мунго. Выпавший снег уже засыпал ему ноги, укрыл плечи и шапку, осел мягким столбиком на выглядывающем из-под головы разжатом кулачке.

Миссионер снял крест, перекрестил им замерзшего мальчика, согрел руки.

Сняв с головы Мунго пушистый малахай из речной выдры, он положил его в свой мешок и погнал дальше упряжку.

Б. РИСКИНД

НА ГРАНИЦЕ

Это далеко от Москвы, поближе к Киеву и совсем близко к границе... Революция рассекла надвое маленькое еврейское местечко. В одной половине местечка есть исполком, сельсовет, Осоавиахим, Заготзерно... В другой половине нет исполкома, нет сельсовета, нет Заготзерна...

В одной половине местечка — просторная школа с большими окнами и дверью, обращенной к той стороне местечка, где нет никакой школы. Дверь, правда, есть и на той половине, и хедер¹ за этой дверью, но так это криво, и низко, и валко, что никто с точностью не может сказать,— дверь ли поддерживает хедер или хедер поддерживает дверь.

Еврейские дети одной половины—они пионеры, авиамоделисты, планеристы, математики. На другой стороне нет авиамоделистов и нет пионеров. На другой стороне еврейские дети с утра до ночи сидят в хедере, тесно прижавшись друг к другу.

Исчахшие детские лица, умные глаза на исчахших лицах, и вереница полуголодных дней перед этими глазами.

По каждому предмету учитель на одной половине, по сильному и веселому человеку на каждый предмет, и один ребе² по всем предметам на второй половине, один больной старик, который так же боится улыбки, как больные глаза его боятся солнца: солнце режет ему глаза. И, наконец, наша армия на нашей половине — красноармейцы и пограничники, друзья наших ребят, друзья их матерей и отцов, и другая армия на противоположной стороне — немые солдаты, которых боятся и дети и родители.

¹ Хедер — еврейская религиозная школа.

² Ребе — учитель хедера.

И вот там, где нет школы, но есть хедер, там спрашивали одному человёку бар-мицве¹. Человеку этому исполнилось тринадцать лет. Был бы у него стоящий костюм, были бы его родители похожи на людей, может, и праздник был бы похож на праздник...

Ну, а если отличие этого дня от всех предыдущих состояло только в том, что мальчик надел отцовские брюки, и надел их не потому, что они были новые, а потому, что они были другие?..

Все это, я думаю, не оставляет сомнений насчет того, какой вид имели отец и сын на этом празднике. Остается мать... Но сколько нужно матери, чтобы быть счастливой? Дня два-три, не больше. Три счастливых дня — это то, чего им хватает на всю жизнь. Первый день: она рожает сына; второй день — бар-мицве, сыну исполнилось тринадцать лет; и если дожить до того дня, когда сын женится,— тут она считает себя с богом вкты, тут она дает расписку в том, что весь паек счастья, который причитался от бога, получен сполна.

И вот, полная гордости, смотрит она на своего сына с его косыми глазами и короткими брюками. О матери! Как мало вам нужно для счастья, и как много счастья не добираете вы от своих должников!..

Празднество спрашивали в хедере. Герой стоял на возвышении. Стоять на этом возвышении было утомительно. Мало того, что человек дожил до тринадцати лет — для гостей этоказалось недостаточно,— нужно было еще и уметь что-нибудь: сказать наизусть главу из библии или вывязать тфилин² на левой руке, словом, проделать то, что делают евреи каждое утро на этой земле. Но вывязать тфилин на левой руке наш герой не сумел, пропеть наизусть главу из святого писания он тоже не сумел.

— Не та голова,— сказал ребе, когда плоды его воспитания сделались явными, и сам пробурчал все те молитвы, которые должен был прочесть мальчик.

— Не та голова,— повторил он и стал бубнить еще яростнее, забыв об ученике, засмотревшемся на единственную тарелку с холодцом.

Смотрел он на холодец, как человек уже умерший, но не успевший закрыть глаза,— с той разницей, правда, что человек

после смерти смотрит на холода от нечего делать, а мальчик не сводил глаз с холода, потому что он был голоден.

— Спой хоть что-нибудь, могила! — сказал ребе, отколотив языком целую главу из святого писания.

И стеклянные глаза мальчика как-будто раскололись. Свет блеснул в них. Мальчик начал петь: вот это он умел! Но что бы, вы думали, запел он?

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

Дрожь потрясла гостей. Страх исказил их лица, когда дети подхватили хором:

Чтобы с боем взять Приморье —
Белой армии оплот!

Только с пожара бегут люди так, как бежали из хедера; убегая, они оглядывались по сторонам, как бы их кто-нибудь не приметил.

Горбатый ребе, подскочив к виновнику торжества, так ударил его кулаком по голове, что виновник торжества перестал не только петь, но и дышать на некоторое время.

— Откуда это горе, разбойники? Где вы взяли эту песню?

— Из их школы,— ответили дети,— мы слышим, как они поют у себя в школе.

— Ложь! — сказал ребе.— Почему я не слышу, как они поют у себя в школе?

— Вы не слышите,— ответили дети,— а мы слышим.

— Корень! — закричал тогда ребе.— Где он растет, разбойники, корень нашей гибели?..

Теперь о другом — знаете ли вы Берчика?

При упоминании о Берчике люди вздыхают — и это не потому, что им жалко его, они потому вздыхают, что Берчик никого не жалеет.

Сделать так, чтобы люди плакали, вот чем занимается Берчик.

Милостыни он не просит, он ее зарабатывает. У него есть скрипка; скрипка его кормит.

Берчик знает много грустных мелодий, но если нужно, он сыграет вам польку, мазурку, вальс.

Ему двенадцать лет, но это бывает только тогда, когда он не играет. И все растворяется, все пропадает, все уходит — и годы его, и сам Берчик, и покорное его лицо, когда Берчик прикладывает к щеке скрипку и закрывает глаза.

Песни с той стороны дети знают, потому что их знает Берчик.

В камышах есть потайное место,— туда приходит Берчик. туда прокрадываются дети из хедера. Берчик играет им песни.

¹ Бар-мицве — мальчик, достигший религиозного совершеннолетия, что, по иудейскому религиозному учению, наступает в 13 лет. День наступления такого совершеннолетия отмечается особым семейным праздником.

² Тфилин — коробочки с написанными на пергаменте библейскими текстами. Тфилин надевается на лоб и на левую руку во время молитвы.

перелетевшие с той стороны, играет тихонько, чуть слышно, но с переходами, со всеми словами, с паузами, как будто и он был там, на той стороне. Дети чуть слышно повторяют за ним, и если бы ребе знал, с какой быстротой запоминают они наизусть все слова этих песен, обида старика была бы велика. Впрочем, она и так горела в нем не потухая. Горбатые старики упрямые. Ребе искал до тех пор, пока не нашел в камышах потайное место, пока не нашел виновника — Берчика. Но откуда Берчик знает эти песни?

Ответить на этот вопрос мальчику пришлось не в хедере, а в участке. Там, в участке, все сразу увидели, что на свете нет мальчика послужнее Берчика.

Участковый, разжалобившись, дал ему поесть Берчик лоел. Участковый попросил его сыграть на скрипке. Берчик сыграл — сначала польку, потом мазурку, потом вальс.

— А если еще? — спросил участковый, и Берчик сыграл ему еврейский «шер», еврейскую «гопку», еврейское «страдание».

— А если другое?.. — сказал участковый.

— Это все, — ответил Берчик.

— А «Каховка»?

— Что это за вальс — «Каховка»? — спросил Берчик.

— Это тот вальс, — ответил участковый, — за который людям разбивают голову.

— Ясновельможный пан, человек же мучается, когда ему разбивают голову...

— Ну, а если разбить скрипку? — спросил участковый.

— Тогда человек умирает, ясновельможный пан.

Смерти Берчика — нет, этого участковый не хотел.

Он не разбил мальчику голову. Он не сломал его скрипку. Он ударил Берчика ногой в живот и начал все сызнова: он попросил Берчика поесть, но Берчик не мог есть больше, он попросил Берчика сыграть, но Берчик не мог играть больше.

Тогда мальчика выпустили или, вернее сказать, вынесли, и ночевал Берчик там, где его бросили.

На рассвете он проснулся.

«Просыпаются только живые, — подумал Берчик, открыв глаза, — скрипка цела, голова цела и нетронутое целое солнце над головой...»

«Вальс, — усмехнулся Берчик, — дай тебе бог такую жизнь, пане участковый, как этот вальс — «Каховка»...»

Он встал на ноги. Ноги его дрожали.

— Дитя мое, — сказал ребе, проходивший мимо, — допустим, что ты не хочешь сказать этого мне, но почему тебе

не сказать богу, кто выучил тебя таким грешным песням?

— Бог знает все, — ответил Берчик, — зачем говорить богу о том, о чем он сам знает?

— Выродок! — задохся ребе. — Вот я сломаю тебе руки и ноги...

Но Берчик даже не двинулся с места.

— После ясновельможного пана, — сказал Берчик, — вы у меня, ребе, небольшой разбойник...

— Ну что? — спросили у ребе в участке.

— Плохо! — ответил ребе, — совсем плохо... И то плохо, что родители моих оборванцев тоже непрочно послушать эти песни, оглохнуть бы им до того, как те начнут петь, а эти слушать...

— Позволь, — нахмурился участковый, — дети же целый день в хедере...

— Целый день в хедере, — ответил ребе, — и целую ночь дома. Человек — это, пане, такое животное, которое лучше всего поет ночью.

И эту ночь mestечко забудет не скоро, тихую и светлую ночь, всю в шелковом шелесте.

Рядом с мальчиком стоит Стах — последний часовой польской границы. Стаху ружье по пояс, мальчик по пояс ружью. Польский солдат Стах рядом с Берчиком — все возможно в такую ночь...

— Сегодня праздник на той стороне, — шепчет Стах, — они будут петь сегодня целую ночь... Я уж их знаю, когда они разгуляются...

— Я тоже их знаю, когда они разгуляются, — шепчет Берчик.

— Дети там, на той стороне, — говорит Стах, — кончают сегодня свою школу. Завтра они разъедутся по своим городам, по университетам, по академиям... Завтра они станут тем, кем они захотят быть. Не так, как у нас, Берчик...

И в это мгновение на той стороне запели.

Они поют всю ночь напролет, когда они разгуляются, на той стороне...

Хорошо за спиной у Стаха — рядом с его ружьем... Никто не видит Берчика — и как ясно доносится песня с той стороны!

Глаза Берчика закрыты, скрипка прижата к щеке. Глаза его закрыты, но он видит, как новая мелодия, дрожа, приближается к скрипке, как начинает она летать над нею, слепая, как птица ночью, слепая и дрожащая, как рождение нового существа. Он не играет еще, Берчик, или, может быть, что-то неслышно играет в нем. Улыбка проступает

на голубоватом узком его лице. И тогда Стах понимает, что все идет как надо.

— В кармане, Берчик?

— В кармане, Стасик.

И первый звук отделяется от скрипки.

Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,
Матрос партизан Железняк...

— Есть, Берчик? — спрашивает Стах, дрожа от нетерпения.

— Есть, Стасик, — и, в такт качая головой, мальчик играет. Тогда солдат не выдерживает. Он наклоняется, чтобы погладить мальчика. Он наклоняется и замирает.

Когда на границе смотрят из кустов человеческие глаза, — это смотрит смерть.

Стах выпрямился, чтобы загородить мальчика своим телом.

— Беги, Берчик... Беги в их школу.

— А ты, Стах?

Выстрел.

— В кармане... — сказал Стах, провожая глазами бегущего Берчика.

Он стоял неподвижно, как подобает стоять солдату, даже тогда, когда он подстрелен. Потом кровь вылилась у него из горла, и он упал.

Умирать везли солдата через все mestечко.

И глядя на носилки с раненым Стахом, еврейские женщины не нашли ничего другого, как подступить к богу с вопросами.

— Ты можешь делать чудеса, господи, — был первый их вопрос, — почему же ты не сделал так, чтобы граница прошла за нами, а не впереди нас?

— И что бы ты доложил из своего капитала, если бы на нашей стороне был такой же исполком, как и на той стороне?

И — третий вопрос — о чем могут спросить напоследок еврейские женщины?..

— Почему те дети, на той стороне, заслужили у тебя больше счастья, чем наши дети? — таков был третий вопрос.

...Далеко от Москвы, поближе к Киеву и совсем близко к границе, есть еврейское mestечко... На одной его стороне есть исполком, на другой — нет исполкома... Но луна у них общая, когда она есть...

19248



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. М. Горький. ***	3
«Кружок взыскивающих града»	8
А. Серафимович. Ежедневно творимое	15
К. Тренев. Заблудились	18
В. Ильенков. За канавой	32
Вяч. Шишков. Отец Макарий	39
П. Замойский. Трепет	47
Виктор Финк. Гибель мира	52
Леонид Леонов. Петушкинский пролом	58
Петр Скосырев. Ваш покорный слуга	66
Иван Кратт. Мунго	72
Б. Рискинд. На границе	81

Антирелигиозные рассказы
Составила Е. Д. Вишневская.
Государственное
антирелигиозное издательство. 1939 г.
Индекс Б—1. Изд. № 22.



Редактор Е. Перовский
Технический редактор Л. Потапова
Корректор Е. Шаров
Художник Е. Соколов



Сдано в набор 17/V 1939 г. Подписано к
печати 31/VIII 1939 г. Формат 84×108¹/₃₂
Объем 5¹/₂ печ. л., 1,4 бум. л., 5,04 авт. л.,
5,21 уч.-изд. л. 41.760 тип. знаков в печ. л.,
издраж 50 000 экз. 1-й завод 30.000 экз.



Уполномоч. Мособлгорлита № Б—8062.



Набрано и сматрицировано в типографии
газ. «Правда».
Отпечатано в 1-й типографии
Трансжелдориздата, Москва
Б. Переяславская, 46 Заказ № 19629



Цена книги в переплете 1 руб.